



ЗАХАР
ПРИЛЕПИН

ПРЕМИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БЕСТСЕЛЛЕР",
"СУПЕРНАЦБЕСТ"
(ЗА ЛУЧШУЮ КНИГУ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ)

18+

Захар Прилепин
Грех (сборник)

«АСТ»

Прилепин З.

Грех (сборник) / З. Прилепин — «АСТ»,

ISBN 978-5-17-086418-8

Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Национальный бестселлер», «СуперНацБест» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санька», «Черная обезьяна», «Патологии»....

Маленький провинциальный городок и тихая деревня, затерянные в смутных девяностых. Незаметное превращение мальчика в мужчину: от босоногого детства с открытиями и трагедиями, что на всю жизнь, – к нежной и хрупкой юности с первой безответной любовью, к пьяному и дурному угару молодости, к удивлённому отцовству – с ответственностью уже за своих детей и свою женщину. «Грех» – это рефлексия и любовь, веселье и мужество, пацанство, растворённое в крови, и счастье, тугое, как парус, звенящее лето и жадная радость жизни. Поэтичная, тонкая, пронзительная, очень личная история героя по имени Захарка.

ISBN 978-5-17-086418-8

© Прилепин З.

© АСТ

Содержание

Грех	6
Какой случится день недели	6
Грех	21
Карлсон	35
Чёрт и другие	43
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Захар Прилепин

Грех (сборник)

© Захар Прилепин

© ООО «Издательство „АСТ“»

* * *

Грех

Какой случится день недели

Сердце отсутствовало. Счастье – невесомо, и носители его – невесомы. А сердце – тяжёлое. У меня не было сердца. И у неё не было сердца, мы оба были бессердечны.

Всё вокруг стало замечательным; и это «всё» иногда словно раскачивалось, а иногда замирало, чтобы им насладились. Мы наслаждались. Ничего не могло коснуться настолько, чтобы вызвать какую-либо иную реакцию, кроме хорошего и лёгкого смеха.

Иногда она уходила, а я ждал. Не в силах дожидаться её, сидя дома, я сокращал время до нашей встречи и расстояние между нами, выходя во двор.

Во дворе бегали щенки, четыре щенка. Мы дали им имена: Бровкин – крепкому бродяге весёлого нрава; Японка – узкоглазой, хитрой, с рыжиной псинке; Беляк – белёсому недоростку, всё время пытавшемуся помериться силой с Бровкиным и неизменно терпящему поражение; и, наконец, Гренлан – её имя выпало неведомо откуда и, как нам показалось, очень подошло этой принцессе с навек жалостливыми глазами, писавшейся от страха или обожания, едва её окликали.

Я сидел на траве в окружении щенков. Бровкин валялся на боку неподалёку и каждый раз, когда я его подзывал, дурашливо скидывал голову. «Привет, ага, – говорил он. – Здрово, да?» Японка и Беляк мельтешили, ковыряясь носами в траве. Гренлан лежала рядом. Когда я хотел её погладить, она каждый раз заваливалась на спину и попискивала: весь вид её говорил, что хоть она и доверяет мне почти бесконечно, открывая свой розовый живот, но всё равно ей так жутко, так жутко, что сил нет всё это вынести. Я всерьёз опасался, что у неё разорвётся сердце от страха. «Ну-ну, ты чего, милаха! – говорил я успокаивающе, с интересом рассматривая её живот и всё на нём размещённое. – Смотри-ка ты, тоже девочка!»

Неизвестно, как щенки попали в наш двор. Однажды утром, неразумно счастливый даже во сне, спокойно держащий в ладонях тяжёлые, спелые украшения моей любимой, спящей ко мне спиной, я услышал забубённый щенячий лай – словно псы материализовали всё неизъяснимое, бродившее во мне, и внятно озвучили моё настроение своими голосами. Впрочем, разбуженный щенячьим гамом, я сначала разозлился – разбудили меня, а ведь могли ещё и Марысю мою разбудить; но вскоре понял, что щенки лают не просто так, а клячат еду у прохожих – голоса прохожих я тоже слышал. Как правило, те отругивались: «Да нет ничего, нет, отстаньте! Кыш! Да отстаньте же!»

Я натянул джинсы, валявшиеся где-то на кухне – вечно нас настигало и кружило где ни попадя, по всей квартире, до полного бессилия, и лишь утром, несколько легкомысленно улыбаясь, мы вычисляли свои буйные маршруты по сдвинутым или взъерошенным предметам мебели и прочему вдохновенному беспорядку, – ну вот, натянул джинсы и выбежал на улицу в шлёпанцах, которые неведомым образом ассоциировались у меня с моим счастьем, моей любовью и моей замечательной жизнью.

Щенки, не допросившиеся подачки от очередного прохожего, без усталости рыскали в траве, ковыряя мелкий сор, отнимая друг у друга щепки, какую-то сохлую кость, который раз переворачивая консервную банку, – и всё это, естественно, не могло их насытить. Я свистнул, они бросились ко мне – о, если бы так всю жизнь бежало ко мне моё счастье, с такой остервенелой готовностью. И закружили рядом, неистово ласкаясь, но и обнюхивая мои руки: пожрать-то вынеси, дядя, говорили они всем своим жизнерадостным видом.

– Сейчас, ребятки! – сказал я и вприпрыжку помчал домой.

Я кинулся к холодильнику, открыл его, молитвенно встав пред ним на колени. Рукой я теребил и поглаживал Марысины белые трусики, которые подхватил с пола в прихожей, конечно же, нисколько не удивившись, отчего они там лежат. Трусики были мягкими; холодильник – пустым. Мы с Марысей не были прозорливы, нет – просто мы никогда не готовили толком ничего, у нас было множество других забот. Мы не желали быть основательными, как борщ, мы жарили крепкие слитки мяса и тут же съедали или, мажась и целуясь, взбивали гоголь-моголь и, опять же сразу, съедали и его. Ничего не было в холодильнике, только яйцо, как заснувший зритель в кинотеатре, посреди пустых кресел с обеих сторон: сверху и снизу. Я открыл морозилку и радостно обнаружил там пакет молока. Отодрал с треском этот пакет с его древней лежанки, бросился на кухню и ещё раз обрадовался, найдя муку. Банка с подсолнечным маслом спокойно стояла на окне. «Будут вам блинчики!» Через двадцать минут я наделал десяток разномастных уродов, местами сырых, местами пережаренных, но вполне съедобных – я сам попробовал и остался доволен. Прыгая через две ступени, ощущая рукой жар блинцов, которые накидал в целлофановый пакет, я вылетел на улицу. Пока спускался по лестнице, успел испугаться, что щенки убежали, но сразу же успокоился, услышав их голоса.

– Ах, какие вы прекрасные ребята! – воскликнул я. – Ну-ка, попробуем блинцы!

Я извлёк из пакета первый блинчик, который, как и все последующие, был комом. Все четыре разом лязгнули юные горячие пасти. Бровкин – тот, кто позже получил это имя, – первым, боднув остальных, выхватил горячий кус, тут же, обжёгшись, выронил его, но не оставил, а в несколько заходов оттащил на полметра в травку, где торопливо обкусал по краям, после, крутя головой, заглотал и вприпрыжку вернулся ко мне.

Помахивая блинцами в воздухе – остужая их, – я старательно наделаял каждого щенка отдельным куском, но мощный Бровкин умудрялся и своё заглатывать, и у родственничков отбирать. Впрочем, делал он это как-то необидно, никого не унижая, а словно придурясь и шая. Той, что после получила имя Гренлан, доставалось блинчиков меньше всех, и я, уже через пару минут научившись отличать щенков – поначалу, казалось, неразличимых, – начал отгонять от Гренлан настырных бровастых братиков и ловкую рыжую сестру, чтобы никто у трогательной и даже в своей семье стеснительной животинки её сладкий кусок не урывал.

Так и подружились.

Каждый раз я безбожно врал себе, что за минуту до того, как пришла, вывернула из-за угла моя любимая, я уже чувствовал её приближение – что-то сдвинулось в загустевшем и налившемся синевой воздухе, где-то тормознуло авто. Я уже вовсю улыбался, как дурной, ещё когда Марыся была далеко, метров за тридцать, и не уставал улыбаться, и щенкам приказывал: «Ну-ка, мою любимую встречать, быстро! Зря ли я вас блинами кормлю, дармоеды!»

Щенки вскакивали и, вихляя во все стороны пухлыми боками, спотыкаясь от счастья, бежали к моей любимой, грозя зацарапать её прекрасные лодыжки. Марысенька переступала ножками и потешно отмахивалась от щенят своей чёрной сумочкой. Во мне всё дрожало и крутило щенячьими хвостами. Продолжая отбиваться сумочкой, Марысенька добредала до меня, с безупречным изяществом приседала рядом, подставляла гладкую, как галька, прохладную, ароматную щёку для поцелуя, а при самом поцелуе на десятую долю миллиметра отодвигалась, точнее вздрагивала, – конечно же, я был небрит. За весь день не нашёл времени – был занят: ждал её. Марыся брала одного из щенков, разглядывала его, смеясь. Розовел щенячий живот, торчали три волоска, иногда с обвисшей мизерной белёсой капелькой.

– У них пасти пахнут травкой, – говорила Марыся и добавляла шёпотом: – Зелёной.

Мы оставляли щенков забавляться, а сами шли в магазин, где покупали себе дешёвые лакомства, раздражая продавцов обилием мелочи, которую Марыся извлекала из сумочки, а я из джинсов. Часто раздражённые продавцы даже не считали мелочь, а брезгливо сгребали её в ладонь и высыпали в угловую полость кассового аппарата, к другим – не медякам, а «белякам» – монетам достоинством в копейку и пять копеек, совершенно потерявшим покупатель-

ную способность в нашем бодро нищавшем государстве. Мы смеялись, нас не могло унижить ничьё брезгливое раздражение.

– Обрати внимание, сегодня день не похож на вторник, – замечала Марыся, выйдя на улицу. – Сегодня как будто пятница. По вторникам гораздо меньше детей на улицах, девушки одеты не настолько ярко, студенты более деловиты, а машины не так неторопливы. Определённо, сегодня сместилось время. Вторник стал пятницей. Что же будет завтра?

Я потешался над её нарочито книжным языком – это было одной из наших забав: разговаривать так. Потом наша речь становилась привычно человеческой – неправильные конструкции, междометия, полунамёки и смех. Всё это невоспроизводимо – потому что каждая фраза имела предысторию, каждая шутка была настолько очаровательно и первозданно глупа, что ещё одно повторение этой шутки убивало её напрочь, будто она родилась слабым цветком, сразу же увядающим. Мы разговаривали нормальным языком любящих и счастливых. В книжках так не пишут. Можно только отдельные фразы выхватить. Например, такую:

– А я у Валиеса была, – сказала Марыся. – Он предложил мне выйти замуж.

– За него?

Глупый вопрос. За кого же.

...Актёр Константин Львович Валиес был старый грузный человек с тяжёлым сердцем. Наверное, оно уже не билось у него, но – опадало.

И тоскливые еврейские глаза под тяжёлыми, как гусеницы, веками совершенно растратили своё природное лукавство. Со мной, как с юношей, он ещё держался – едко, как ему казалось, иронизировал и снисходительно хмурился. С ней же он не мог утаить свою беззащитность, и эта беззащитность смотрелась как белый голый живот из-под плохо заправленной рубашки.

Однажды я как человек, зарабатывающий на жизнь любым способом, находящимся в рамках закона, в том числе и написанием малоумной чепухи, обычно служащей наполнением газет, напросился к Валиесу на интервью.

Он пригласил меня домой.

Я пришёл чуть раньше и блаженно покурив на лавочке у дома. Встав с лавочки, пошёл к подъезду. Мельком взглянул на часы и, увидев, что у меня есть ещё пять минут, вернулся к качелям, мимо которых только что прошёл, коснувшись их рукой, пальцами, унеся на них холод и шероховатость ржавчины железных поручней. Я сел на качели и несильно толкнулся ногами. Качели издали лёгкий скрип. Он показался мне знакомым, что-то напоминающим. Я качнулся ещё раз и услышал вполне определённо: «В-ва... ли... ес...» Качнулся ещё раз. «Вали-ес» – скрипели качели. «Ва-ли-ес». Я улыбнулся и чуть неловко спрыгнул – в спину качели выкрикнули что-то с железным сипом, но я не разобрал что. В тон качелям хмыкнула входная дверь подъезда.

Я забыл сказать, что Валиес был старейшим актёром Театра комедии нашего города: иначе зачем бы мне к нему идти. Никто не стал допытываться у меня через дверь, кто я такой, – в самых добрых советских традициях дверь раскрылась нараспашку, Константин Львович улыбался.

– Вы журналист? Проходите...

Он был невысок, грузноват, шея в обильных морщинах выдавала возраст, но безупречный актёрский голос по-прежнему звучал богато и важно.

Валиес курил, быстрым движением стряхивал пепел, жестикулировал, поднимал брови и задерживал их чуть дольше, чем может задержать вскинутые брови обычный человек, не артист. Но Константину Львовичу всё это шло – вскинутые брови, взгляды, паузы. Беседуя, он всё это умело и красиво расставлял. Как шахматы, в определённом порядке. И даже кашель его был артистичен.

«Извините», – непременно говорил он, откашлявшись, и там, где заканчивалось звучание последнего звука в слове «извините», сразу же начиналось продолжение прерванной фразы.

«Так вот... Захар, да? Так вот, Захар...» – говорил он, бережно произнося моё достаточно редкое имя, словно пробуя его языком, подобно ягоде или орешку.

– Валиес учился в театральном училище вместе с Евгением Евстигнеевым, они дружили! – пересказывал я в тот же вечер Марысенке то, что поведал мне сам Константин Львович. Евстигнеев в тёмной каморке с портретом Чарли Чаплина у продавленной кровати – молодой и уже лысый Евстигнеев, живущий вдвоём со своей мамочкой, тихо суеющейся за фанерной стенкой, и Валиес у него в гостях, кудрявый, с яркими еврейскими глазами... Я всё это ярко себе вообразил – и в сочных красках, словно видел сам, расписывал своей любимой. Мне хотелось её удивить, нравилось её удивлять. Она с удовольствием удивлялась.

– Валиес и Евстигнеев ходили в звёздах на своём курсе, такая весёлая пара, два клоуна, кудрявый и лысый, еврей и русский, почти как Ильф и Петров. Вот ведь как бывает... – говорил я Марысе, заглядывая в её смеющиеся глаза.

– А потом? – спрашивала Марыся.

После окончания училища Женю Евстигнеева не взяли в наш Театр комедии – сказали, что не нужен. А Валиеса взяли сразу. К тому же его начали снимать в кино, одновременно с Евстигнеевым, перебравшимся в Москву. За несколько лет Валиес трижды сыграл поэта Александра Пушкина и трижды революционера Якова Свердлова. Картины прошли по всей стране... Ещё Валиес сыграл безобидного еврея в кино о войне в паре с известным тогда Шурой Демьяненко. А затем Иуду в фильме, где Владимир Высоцкий играл Христа. Правда, этот фильм закрыли ещё до конца съёмок. Но вообще всё очень бодро начиналось в актёрской жизни Валиеса.

– ...Ну а потом Валиеса перестали снимать, – рассказал я Марысе.

Он ждал, что его позовут, пригласят, а его не звали. Так он и не стал звездой, хотя в нашем городе он, конечно же, был почитаем. Но спектакли прошли и забылись, и неяркие его фильмы тоже забылись, а Валиес постарел.

В разговоре Валиес был зол, ругался. Хорошо, что так. А то было бы совсем грустно смотреть на старого человека с опадающим сердцем... Дым развеивался, он прикуривал новую – почему-то от спичек, зажигалки на столе не было.

Время его уходило, почти ушло – где-то, когда-то, в какой-то далёкий день он не сумел зацепиться, ухватиться за что-то цепкими юными пальцами, чтобы выползти на залитое тёплым, пивным солнышком пространство, где всем подарена слава прижизненная и обещана любовь посмертная – пусть не вечная, но такая, чтоб тебя не забыли хотя б во время поминальной пьянки.

Валиес давил очередную сигарету в пепельнице, взмахивал руками, мелькали жёлтые подушечки пальцев – он много курил. Задерживал дым и, медленно выдыхая, терялся в дыме, не шуря глаза, а голову откидывая назад. Было ясно, что всё отшумело, и вот он блистает белками глаз в розовых жилках и большими губами перебирает, и тяжёлые веки подрагивают...

– Тебе жалко его, Марысенка?

Назавтра же я набрал интервью, перечитал и отнёс Валиесу. Передал из рук в руки и сразу же убежал. Валиес нежно проводил меня. И перезвонил сам, едва я добрался до дома. Может быть, даже раньше начал звонить – так как его звонок одёрнул меня, едва вошедшего в квартиру. Голос актёра дрожал. Он был крайне возмущён.

– В таком виде интервью идти не может! – почти выкрикнул он.

Я несколько опешил.

– Ну и не пойдёт, – сказал я по возможности спокойно.

– До свиданья! – отрезал он и кинул трубку. «Что я такого сделал?» – подумал я.

Каждое утро нас будил лай – щенята по-прежнему клячили съестное у прохожих, спешащих на работу. Прохожие ругались – щенки мазали лапами их одежду.

Но однажды глубоким утром, переходящим в полдень, я не услышал щенков. Я почувствовал волнение ещё во сне: чего-то явно не хватало в томной сумятице звуков и отсветов, предшествующих пробуждению. Возникла пустота, она была подобна воронке, засасывающей мой сонный покой.

– Марысенька! Я щенков не слышу! – сказал я тихо и с таким ужасом, словно не нашёл пульс у себя на руке.

Марысенька и сама перепугалась.

– Беги скорей на улицу! – тоже шёпотом сказала она.

Спустя несколько секунд я уже прыгал по ступеням, думая в лихорадке: «Машина задавила? Как? Всех четверых? Быть не может...» Я выбежал в солнце, и в запах растеплевшейся земли и травы, и в негромкие звуки авто за углом и сразу засвистел, зашумел, повторяя имена щенков поочередно и вразнобой. Я обошёл поросший кустами, неприбранный дворик. Я заглядывал под каждый куст – и никого там не находил.

Я обежал вокруг нашего удивительного дома, удивительного потому, что с одной стороны у него было три этажа, а с другой – четыре. Он располагался на спуске, и архитекторы посчитали возможным сделать постройку разноэтажной – дабы крыша дома была ровной; дом наш вполне мог свести с ума какого-нибудь алкоголика, не к добру попытавшегося проверить степень близости к «белочке» пересчитыванием этажей облезлой, но ещё могучей «сталинки».

Я мельком об этом подумал ещё раз, обойдя дом неспешно, зачем-то стуча по водопроводным трубам и заглядывая в окна. Не было ни щенков, ни следов щенячьих.

Бесконечно огорчённый, я вернулся домой. Марыся всё сразу поняла, но спросила-таки:

– Нет?

– Нет.

– Я утром слышала, как их кто-то звал, – сказала она. – Точно, слышала. Мужик какой-то силплый.

Я смотрел на Марысю, всем своим видом требуя, чтобы она вспомнила, что он говорил, этот мужик, как он говорил, – сейчас я пойду и найду его в городе по голосу и спрошу, где мои щенки.

– Их, наверное, бомжи забрали, – сказала Марыся обречённо.

– Какие бомжи?

– У нас здесь неподалёку живёт целая семья, в хрущёвке. Несколько мужчин и женщина. Они часто возвращаются мимо нашего дома с помойными сумками. Наверное, они их заманили.

– Они что... могут их съесть?

– Они всё едят.

Я на мгновение представил всю эту картину – как моих весёлых ребят, подкупив обманной лаской, покидали в мешок. Как они поскуливали, пока их несли. Как они развеселились, когда их вывалили из мешка в квартире, – и поначалу щенкам даже понравилось: там так вкусно пахло съестным, гнилым мясом и... чем там ещё пахнет? Перегаром...

Может быть, бомжи даже позабавлялись немного со щенятами – тоже ведь люди, – потрепали им холки, почесали животы. Но потом пришло время обеда... «Не могли же они всех сразу зарезать? – думал я, едва не плача. – Ну, двух... ну, трёх...» Я представлял себе эти мучительные картины, и меня всего трясло.

– Где они живут? – спросил я Марысеньку.

– Я не знаю.

– Кто знает?

– Может быть, соседи?

Я молча надел ботинки, подумал, какое оружие взять с собой. Никакого оружия дома не было, кроме кухонного ножа, но его я не взял. «Если я зарежу этим ножом бомжа или всех бомжей – нож придётся выкинуть», – подумал мрачно. Я пошёл по соседям, но большинство из них уже ушли на работу, а те, что оставались дома, в основном престарелые, никак не могли понять, чего я от них хочу – какие-то щенки, какие-то бомжи... К тому же они не открывали мне. Объясняться перед глазком деревянных дверей, которые я мог бы выбить ударом ноги, ну, тремя ударами, было тошно. Обозвав кого-то «старым болваном», я выбежал из подъезда и направился к дому, где жили бомжи.

Дошёл, почти добежал до хрущёвки, уже на подходе пытаюсь определить по окнам злосчастный бомжатник. Не определил: слишком много бедных и грязных окон и всего два окна холёных. Забежал в подъезд, позвонил в квартиру № 1.

– Где бомжи живут? – спросил.

– Мы сами бомжи, – хмуро ответил мужик в трусах, разглядывая меня. – Чего надо?

Я посмотрел ему через плечо, глупо надеясь, что мне навстречу выскочит Бровкин. Или выползет жалостливая Гренлан, волоча кишки за собой. За плечом темнела квартира, велосипед в прихожей. Перекрученные и грязные половики лежали на полу. Дверь квартиры № 2 открыла женщина кавказской национальности, выбежали несколько черномазых пострелят. Им я ничего не стал объяснять, хотя женщина сразу начала много говорить. О чём, я не понял. Вбежал на второй этаж.

– В вашем доме есть квартира с бомжами, – объяснил я опрятной бабушке, спускавшейся вниз, – они меня обокрали, я их ищу.

Бабушка объяснила мне, что бомжи живут в соседнем подъезде на втором этаже.

– Чего украли-то? – спросила она, когда я уже спускался.

«Невесту», – хотел пошутить я, но передумал.

– Так... одну вещь...

Огляделся на улице – может, прихватить с собой какой-нибудь дрын. Дрына нигде не было, а то бы прихватил. Американский клён, растущий во дворе, я обламывать не захотел – его фиг обломаешь, хилый и мягкий сук гнуть можно целую неделю, ничего не добьёшься. Поганое дерево, уродливое, подумал я мстительно и зло, каким-то образом связывая бомжей с американскими клёнами и с самой Америкой, будто бомжей завезли из этой страны. Второй этаж – куда, где? Вот эта дверь, наверное. Самая облезлая. Словно на неё мочились несколько лет. И щепка выбита внизу, оголяя жёлтое дерево.

На звонок нажал, придурок. Сейчас, да, зазвенит переливчатой трелью, только нажми посильней. Зачем-то вытер палец, коснувшийся сто лет как немного, даже без проводков, звонка о штанину. Прислушался к звукам за дверью, конечно же, надеясь услышать щенков.

«Сожрали, что ли, уже, гады?... Ну я вам...»

На мгновение задумался, чем ударить по двери – рукой или ногой. Даже ногу приподнял, но ударил ладонью, несильно, потом чуть сильнее. Дверь с шипом и скрипом отверзлась, образовалась щель для входа. Нажал на дверь руками – она ползла по полу, по уже натёртому следу. Шагнул в полутьму и в тошнотворный запах, распаяя себя озлоблением, которое просто вяло от воню.

– Эй! – позвал я, желая, чтоб голос звучал грубо и твёрдо, но призыв получился сдавленным.

«Как к ним обращаться-то? „Эй, люди“, „Эй, бомжи“? Они ведь и не бомжи, раз у них место жительства есть».

Я стал осматривать пол, почему-то уверенный, что сразу ступлю в сочную грязь, если сделаю ещё один шаг. Сделал шаг. Твёрдо. Налево – кухня. Прямо – комната. Сейчас вырвет. Пустил длинную, предтошнотную слюну. Слюна качнулась, опала и зависла на стене с оборванными в форме пика обоями.

«Почему в таких квартирах всегда оборваны обои? Они что, нарочно их обрывают?»
– Ты что плюёшься? – спросил сиплый голос. – Ты, бля, в доме.

Я не сразу сообразил, чей это голос – мужчины или женщины. И откуда он доносится – из комнаты или из кухни? Из комнаты меня не видно, значит, из кухни. На кухне тоже было темно. Приглядевшись, я понял, что окна там забиты листами фанеры. Я сделал ещё один шаг – в сторону кухни, и увидел за столом человека. Половая его принадлежность по-прежнему была не ясна. Много всклокоченных волос... Босой... Штаны, или что-то наподобие штанов, кончаются выше колен. Мне показалось, что на голой ноге у человека – рана. И в ней кто-то ползает, в большом количестве. Может, просто в темноте примнилось.

На столе стояло множество бутылок и банок.

Мы молчали. Человек сопел, не глядя на меня. Неожиданно он закашлялся, стол задрожал, посуда зазвенела. Человек кашлял всеми своими внутренностями, лёгкими, бронхами, почками, желудком, носом, каждой порой. Всё внутри его грохотало и клочкотало, рассыпая вокруг слюнь, слюну и желчь. Кислый воздух в квартире медленно задвигался и уплотнился вокруг меня. Я понял, что если один раз в полную грудь вздохну, то во мне поселится несколько неизлечимых болезней, которые в краткие сроки сделают меня глубоким инвалидом с гнойными глазами и неудержимым кровавым поносом.

Я стоял навтыяжку и не дыша перед кашляющим нищим, словно перед генералом, отчитывающим меня. Кашель утихал постепенно, в довершение всего нищий сам плюнул длинной слюной на пол и вытер рукавом рот. Наконец я решился пройти.

– Я за щенками! – сказал я громко, едва не задохнувшись, потому что, открывая рот, не дышал. Слова получились деревянными. – Где щенки, ты? – спросил я на исходе дыхания: словно тронул плечом поленницу и несколько полешек скатилось, тупо kloцая боками.

Человек поднял на меня взор и снова закашлялся. Я почти вбежал в кухню, пугаясь, что сейчас упаду в обморок и буду лежать вот тут, на полу, а эти твари подумают, что я один из них, и положат меня с собой. Придёт Марысенька, а я с бомжами лежу. Я пнул расставленные на моём пути голые ноги бомжа, и мне показалось, что с раны на его лодыжке вспорхнули несколько десятков мелких мошек.

– Чёрт! – выругался я, громко дыша, уже не в силах не дышать. Человек, которого я пнул, пошатнулся и упал, попутно сгребя со стола посуду, и она посыпалась на него, и стул, на котором он сидел, тоже упал и выставил вверх две ножки. Причём расположены они были не по диагонали, а на одной стороне. «Он не мог стоять! На нём нельзя сидеть!» – подумал я и закричал:

– Где щенки, гнида?!

Человек копошился на полу. Что-то подтекало к моим ботинкам. Я сорвал с окна фанеру и увидел, что окно частично разбито, поэтому его, видимо, и закрыли. В окне, между створками, стояла поллитровая банка с одиноким размякшим огурцом, заросшая такой белой, бородастой плесенью, что ей мог позавидовать Дед Мороз.

– Чёрт! Черти! – опять выругался я, беспомощно оглядывая пустую кухню, в которой помимо рогатого стула лежало несколько ломаных ящиков. Газовой плиты не было. В углу сочился кран. В раковине лежала гора полугнилых овощей. По овощам ползала всевозможная живность с усами или с крыльями.

Я перепрыгнул через лежащего на полу и влетел в комнату, едва не упав, с ходу запнувшись о сваленные на пол одежды – пальто, шубы, тряпье. Возможно, в тряпье кто-то лежал, зарывшийся. Комната была пуста, лишь в углу стоял старый телевизор, причём с целым кинескопом. Окно тоже было забито фанерой.

– Хорош, ты! – крикнули мне с кухни. – Я сам, сука, боксёр.

– Где щенки, сука-боксёр? – передразнил я его, но на кухню не вернулся, а, преодолевая брезгливость, открыл дверь в туалет. Унитаз в туалете не было: зияла дыра в полу. В жёлтой, как лимонад, ванной лежали осколки стекла и пустые бутылки.

– Какие щенки? – закричали мне с кухни и ещё высыпали несколько десятков нечленораздельных звуков, похожих то ли на жалобу, то ли на мат.

Голос всё-таки принадлежал мужчине.

– Щенков забирали? – заорал я на него, выйдя из туалета и разыскивая в коридоре, чем бы его ударить. Почему-то мне казалось, что здесь должен быть костыль, я вроде бы его видел.

– Сожрали щенков? Говори! Сожрали щенков, людоеды? – кричал я.

– Сам ты сожрал! – заорали мне в ответ.

Я поднял с пола давно обвалившуюся вешалку, кинул в лежащего на кухне и снова стал искать костыль.

– Саша! – позвал бомж кого-то. Он всё ещё копошился, не в силах встать.

«Бляц!» – лязгнула о стену брошенная в меня бутылка.

– Грабитель! – рыдал копошащийся на полу человек, разыскивая, чем бы бросить в меня ещё.

Он, определённо, порезался обо что-то – по руке обильно текла кровь.

Он бросил в меня железной кружкой и ещё одной бутылкой. От кружки я увернулся, бутылку смешно отбил ногой.

«Всё, хорош...» – подумал я и выбежал из квартиры. В подъезде осмотрелся – нет ли на мне какой склизкой грязи. Вроде нет. Воздух хлынул на меня со всех сторон – какой прекрасный и чистый в подъездах воздух, боже мой. Хвост мутной и кислой дряни, почти видимой, полз за мной из бомжатника – и я сбежал на первый этаж, чему-то улыбаясь безумной улыбкой.

В квартире на втором этаже продолжали орать...

– Они ведь тоже были детьми, – сказала мне Марыся дома, – представляешь, тоже бегали с розовыми животами...

– Были... – ответил я не раздумывая, не решив для себя твёрдо, были ли. Попытался вспомнить лицо сидевшего, а затем лежавшего на той кухне, и не вспомнил.

Вернувшись, я влез в ванну и долго тёр себя мочалкой, до тех пор, пока плечи не стали розовыми.

– Всё-таки они не могли их съесть за одно утро? Так ведь? Не могли ведь? – громко спрашивала из-за двери Марысенька.

– Не могли! – отвечал я.

– Может, их другие бомжи забрали? – предположила Марыся.

– Но ведь они должны были запищать? – подумал я вслух. – А? Заскулить? Когда их в мешок кидали? Мы бы услышали.

Марысенька замолчала, видимо, размышляя.

– Ты почему так долго? Иди скорей ко мне! – позвала она, и по её голосу я понял, что она не пришла к определённому выводу о судьбе щенят.

– Ты ко мне иди, – ответил я.

Встал в ванне и, роняя пену с рук на пол, дотянулся до защёлки. Марыся стояла прямо у двери и смотрела на меня весёлыми глазами.

На час мы забыли о щенках. Я с удивлением подумал, что мы вместе уже семь месяцев, и каждый раз – а это, наверное, происходило между нами уже несколько сотен раз, – каждый раз получается лучше, чем в предыдущий. Хотя в предыдущий раз казалось, что лучше уже нельзя.

«Что же это такое?» – подумал я, проводя рукой по её спине, неестественно сужавшейся в талии и переходившей в белое-белое, на котором была видна ещё более белая треугольная чайка... Чайка была покрыта розовыми пятнами, я её измял всю.

Рука моя овяла, хотя ещё мгновение назад была твёрдой и цепко, больно держала за скулы лицо моей любимой – находясь за её... спиной, я любил смотреть на неё – и поворачивал её лицо к себе: что там, в глазах её, как губы её...

Мы возвращались из магазина спустя почти две недели – уже, наверное, похоронив их за эти дни, хотя и не говоря об этом вслух, – и вот они появились. Щенки, как ни в чём не бывало, вылетели нам навстречу и сразу исцарапали прекрасные ножки моей любимой и оставили на моих бежевых джинсах свои весёлые лапы.

– Ребята! Вы живы! – завопил я, поднимая всех по очереди и глядя в дурашливые глаза щенков.

Последней я попытался подхватить на руки Гренлан, но она, по обыкновению, сразу упала на спину, и открыла живот, и обдулась то ли от страха, то ли от восторга, то ли от бесконечного уважения к нам.

– Дай им что-нибудь! – велела Марысенька.

Сырых, мороженных пельменей я не мог им дать и вскрыл йогурт, вывалив розовую массу прямо на покорёженный асфальт. Они вылизали всё и стали наматывать круги – обегая нас с Марысей, на каждом круге тычась носами в тёмные пятна от мгновенно исчезнувшего йогурта.

– Давай ещё! – сказала Марыся, улыбаясь одними глазами.

Мы скормили щенкам четыре йогурта и ушли домой счастливые, обсуждая, где щенки пропадали так долго. Так и не поняли, конечно.

Щенки вновь поселились в нашем дворе.

На улице вовсю клокотало, паря и подрагивая, лето, и, открыв окно утром, можно было окликать щенков, которые двигались зигзагами, не понимая, кто их зовёт, но очень радовались падавшим с неба куриным косточкам.

Дни были важными – каждый день. Ничего не происходило, но всё было очень важно. Лёгкость и невесомость были настолько важными и полными, что из них можно было сбить огромные тяжёлые перины. За окошком раздавалось бодрое твяканье.

– Может быть, их убили, задавили, утопили... а они вернулись с того света? Чтобы нас не огорчать? – предположила Марысенька как-то ночью.

Её голос, казалось, слабо звенел, как колоколец, и слова были настолько осязаемы, что, прищурившись в темноте, наверное, можно было увидеть, как они, выпорхнув, легко опадают, покачиваясь в воздухе. И на следующее утро их можно было найти на книгах, или под диваном, или ещё где-нибудь – на ощупь они, должно быть, похожи на крылья высохшего насекомого, которые сразу же рассыплются, едва их возьмешь.

– Ты представляешь? – спросила она. – Ожили, и всё. Потому что нас просто нельзя огорчать этим летом. Потому что такого больше никогда не будет.

Я не хотел об этом говорить. И я напомнил ей, как Беляк беспрестанно пытается победить Бровкина и как Бровкин легко заваливает его, и отбегает, равнодушный к побеждённому, и вновь царственно, как львёнок, лежит на траве. Взирает. И ещё, торопясь говорить, вспомнил о Японке, о её хитрых лисьих глазах и непонятном характере. Марысенька молчала.

Тогда я стал рассказывать о Гренлан, о том, как она писается то ли от страха, то ли от восторга, хотя моя любимая знала всё это и сама видела, но она подхватила мои рассказы, вплела в них своё умиление и свой беззаботный смех – сначала одной маленькой цветной лентой, потом ещё одной, едва приметной. И я продолжил говорить, даже не говорить, а плести... или грести – ещё быстрее грести веслами, увозя свою любимую в слабой лодочке... или, может быть, не грести, а махать педалями, увозя её на раме, прижавшуюся ко мне горячей кожей... в общем, оставляя всё то, куда вернёшься, как ни суетись.

– Слушай, у нас пропадает несколько денег. Мы их можем заработать. Редактор газеты сказал, что хочет интервью с Валиесом. А у меня нет интервью.

– Ты же его взял? – Марыся посмотрела на меня.

– Я говорил, он же...

– Да, да, помню... И что делать? Если б у нас было несколько денег, мы бы пошли гулять. Нам нужно денег для гулянья. На выгул нас.

Мы помолчали раздумывая.

– Позвони Валиесу. Спроси: «Что вам не понравилось?»

– Нет, я не буду. Он как заорёт.

– А что ему не понравилось?

– Я его изобразил злым. Разрушителем покоя, устоя... А он просто сплетничал. Поганный старикан.

– Ну ты что? Зачем ругаешься?

– Поганный старикан! Всех обозвал, а печатать это не даёт. Что ему терять? Зато какой бы скандал получился, а?

– А ты напечатай без спроса.

– Не, нельзя. Так нехорошо... Поганный старикан.

Мы ещё помолчали. Я наливал Марысеньке чай. Над чаем вился пар.

– Слушай, – сказал я, – а давай ты возьмёшь у него интервью?

– Я не умею. Как его брать? Я стесняюсь.

– Чего ты стесняешься? Я напишу тебе на листке вопросы. Ты придёшь и будешь читать по листку. А он отвечать. Включишь диктофон, и всё. И у нас будет несколько денег.

Я обрадовался своей неожиданной мысли и с жаром принялся убеждать Марысеньку в том, что она обязательно должна пойти к Валиесу и взять у него интервью. И уговорил.

Она долго готовилась, нашла какую-то старую брошюру о Валиесе, и всю вызубрила её наизусть, и записанные мной вопросы повторяла без устали, как перед экзаменом.

– Он не прогонит меня? – непрестанно спрашивала Марысенька. – Я же ничего не понимаю в театре.

– Как же не понимаешь, ты в отличие от меня там была.

– Я не понимаю, нет.

– А журналисты вообще ничего ни в чём не понимают. Так принято. И пишут обо всём. Это главное журналистское дело – ни черта ни в чём не разбираться и высказываться по любому поводу.

– Нет, так нельзя. Может быть, сначала мы сходим на несколько спектаклей?

– Марысенька, ты с ума сошла, это не окупится. Иди немедленно к Валиесу. Звони сейчас же ему, а то он умрёт скоро, он уже старенький.

– Перестань, слышишь. Я должна подготовиться.

Она позвонила только на другой день, выгнав меня в другую комнату, чтоб я не слышал и не видел, как она разговаривает по телефону, и не корчил ей подлых рожи.

Валиес степенно согласился – Марыся мне рассказала, как он ей отвечал по телефону, и мы вместе пришли к выводу, что он соглашается «степенно». Я проводил её до дома Валиеса и стал дожидаться, когда она вернётся.

Представлял, как они там расселись по своим местам, и вот он курит... Или не курит? Дальше я уже ничего не мог представить: всё время сбивался на то, как Марыся сидит в тёмных брючках на кресле и, когда она тянется с кресла к диктофону, стоящему на столике, чтобы перевернуть кассету, – задирается свитерок, чуть-чуть оголяется её спинка и становится виден лоскуток трусиков, верхняя их полоска... Дальше думать не было сил, и я отправился гулять.

Обошёл вокруг дома, поглазел на детей, которых в городе стало заметно меньше – по сравнению с временами моего детства, казалось бы, не так давно закончившегося. Сосчитав

углы дома, я присел под покосившуюся крышу теремка, выкурил последнюю сигарету в пачке и решил бросить курить. Впрочем, «решил» – это не совсем верно сказано: я твёрдо понял, что курить больше не буду – потому что сигареты никак не вязались с моим настроением, курение было совершенно лишним, ненужным, отнимающим время занятием.

«Зачем я курю, такой счастливый?» – подумал я и в который раз за последнее время поймал себя на том, что улыбаюсь – и не отдаю себе в этом отчёта. И от этого улыбнулся ещё счастливее и, представив себе свой придурковатый вид со стороны, засмеялся в голос.

Марысенька вернулась часа через полтора. За это время я чуть не закурил снова.

– Ну как он? – приступил я к Марысе.

– Хороший, – сказала Марысенька, жмурясь.

– О чём вы говорили?

– Я не помню... – Улыбка не сходила с её лица.

– Как ты не помнишь? Вы же только что расстались?

– Представляешь, я листочек потеряла с твоими вопросами и забыла всё сразу.

– И как же ты?

– Даже не знаю... Придём домой, послушаем на диктофоне... Хочу яблоко. Купи яблоко...

Я купил ей яблоко: у бабушки с корзинкой.

– Червивое, – сказала Марысенька, откусив несколько раз.

– Выкинь, – велел я.

– Червивое – значит, настоящее, – ответила она.

Мы прошли четыре остановки пешком, держа друг друга за руки. Мы наскребли на бутылку дешёвого вина и выпили её, как алкоголики, за ларьком. Пахло мочой. Мы целовались до нехорошего изнеможения, сулящего безрассудные поступки – на ещё полной машин, хотя и заведённой улице. Потом несколько минут успокаивались.

– Как мы будем жить? – спросила Марысенька, улыбаясь.

– Замечательно.

– А сюжет будет?

– Сюжет? Сюжет – это когда всё истекает. А у нас всё течёт и течёт.

Мы тихо пошли домой, но идти надо было в горку, и Марыся начала жаловаться, что устала. Я посадил её на плечи. Марысенька пела песню, ей очень нравилось ехать верхом. Мне тоже нравилось нести её, я держал Марысю за лодыжки и шевелил головой, пытаясь найти такое положение, чтобы шее было тепло и даже немножко сыро.

Через день Марыся отправилась к Валиесу заверять интервью. Мы сделали интервью беззлобным, спокойным, и, как следствие, оно получилось несколько скучным. От Валиеса Марыся вернулась довольной: интервью ему понравилось, он очень хвалил Марысеньку, однако предложил сделать в текст несколько вставок и поэтому попросил прийти её ещё. Когда точно – не сказал, обещал перезвонить.

– Сразу-то он не мог сделать эти вставки? – смеялся я.

– Он, наверное, несчастный. У него нет жены. Он живёт один, – рассказывала Марысенька. – Он говорит, что очень одинок.

– А он курит при тебе? – спросил я зачем-то.

– Нет, не курит. Говорит, что бросил.

«Надо же, бросил, – подумал я с ироничным раздражением. – Чего он не курит-то? Тоже мне... Я-то от счастья, а он от чего?»

– Ну как он тебе? – выпрашивал я, втайне чувствуя приязнь к Валиесу – потому что он вызывал хорошие чувства у моей любимой.

– Ты знаешь, все люди такие смешные... Вот старенькие мужчины... Валиес... Ведь и у него тоже когда-то мама была, он тоже был ребёнком. Как все мы. И мы все так себя ведём, как нас когда-то научили мамы... Поэтому всё очень похоже, просто. Ты понимаешь?

Мне показалось, что очень понимаю. У Валиеса была мама. У Марыси была мама. И у меня. Что тут не понять.

Мы сидели с щенками во дворе, ожидали Марысеньку. Она пришла, и мы все обрадовались.

– А я у Валиеса была, – сказала Марысенька. – Он предложил мне выйти замуж.

– За кого?

Я сам засмеялся своему дурацкому вопросу. И Марысенька засмеялась.

– Ты представляешь, – рассказала она, – он мне позвонил, такой чопорный. «...Не могли бы вы ко мне прийти сегодня...»

– За вставками в интервью?

Марысенька снова засмеялась.

– Ты представляешь, я приехала к нему, а он открывает дверь – во фраке. Такой весь как... канделябр... Чёрный и торжественный. И одеколоном пахнет. Я в квартиру заглянула – а там огромный стол накрыт: свечи, вино, посуда. Кошмар!

– И что?

– Я даже не стала раздеваться. Я ему наврала... – Марысенька посмотрела на меня таинственно потемневшими глазами. – Я ему сказала, что у меня ребёнок маленький. Дома один остался.

– Он опешил?

– Нет, он вообще вёл себя очень достойно. Нисколько не суетился. Сказал: «Ну ничего, в следующий раз...» Потом добавил, что он готовит спектакль... «...О любви старого, мудрого человека к молодой девушке» – так он сказал... И предложил мне сыграть главную роль.

– Старого, мудрого человека?

Мы опять засмеялись. И наш смех нисколько не унижал Валиеса. Если кто-то третий, кто-то, следящий за всей подлостью на земле, слышал тогда наш смех, он наверняка подтвердил бы это – потому что нам было просто и чисто радостно оттого, что Валиес нам встретился, и что он во фраке, и что он такой славный... «Старый, мудрый человек...» И вот – молодая девушка в главной роли – рядом со мной. И я.

– Ну а после этого он предложил мне выйти за него замуж, – закончила Марысенька.

Я не стал спрашивать, как это было. Я просто смотрел на неё.

– А что я могла? – словно оправдываясь, ответила она на мой вопрошающий взгляд. – Я сказала: «Константин Львович, вы очень хороший человек. Можно я вам ещё позвоню?» Он говорит: «Обязательно позвоните...» И всё, я убежала. Даже лифта не стала ждать...

– Сидит там, наверное, один, – неожиданно взгрустнулось мне. – Марысь... Ну выпила бы с ним бутылочку... Жалко тебе?

– Ты что? Нет, я не могу. Не могла. Нельзя. Ты что? Он мне предложил выйти замуж, а я стала бы там есть селёдку под шубой.

– Там была селёдка под шубой? – заинтересованно спросил я.

Мы снова засмеялись, теребя щенков, вертевшихся у нас в ногах.

– Есть хочу, – сказала Марысенька.

– Вот надо было у Валиеса поест, – не унимался я. – Пойдём к нему вместе? Скажешь: вот ваш старый знакомый. Он пришёл извиниться. И тоже хочет сыграть в спектакле...

– «Роль молодого, глупого человека...» – продолжила Марысенька.

– Сядем за стол, поговорим, выпьем. Обсудим будущий спектакль. Да? Что там у него было на столе? Кроме селёдки...

– Не было там никакой селёдки.

– Но ты же сказала...

Мы были очень голодны. Почти невесомы от голода.

– Пойдём куда-нибудь? Я действительно захотела селёдки. И водки с томатным соком. Это ужасно, что я хочу водки?

– Что ты. Это восхитительно.

Валиес стал звонить чуть ли не ежедневно. Иногда я брал трубку, и он, не узнавая меня и ничуть не смущаясь того, что трубку брал мужчина, звал её к телефону, называя мою любимую по имени-отчеству. Он даже пригласил её на свой день рождения, ему исполнилось то ли 69, то ли 71, но она не пошла. Валиес не обиделся, он звонил ещё, и они порой подолгу разговаривали. Марыся слушала, а он ей рассказывал. «Может, он ей какие-то непристойности говорит?» – подумал я в первый раз, но Марысенька была так серьёзна и такие вопросы задавала ему, что глупости, пришедшие мне в голову, отпали.

– Он рассказывает о том, что ему не дают ставить спектакль. Что его обижают. Ему не с кем общаться, – сказала Марысенька. – Он говорит, что я его понимаю.

Валиес вошёл в обиход наших разговоров за чаем, а также разговоров без чая.

– Как там Константин Львович? – спрашивал я часто.

Марысенька задумчиво улыбалась и не позволяла мне острить по поводу старика. Я и не собирался.

Мне было по поводу кого острить и на кого умиляться. Бровкин вымахал в широкогрудого парня с отлично поставленным голосом. Мы с ним хорошо бузили – когда я изредка приходил хмельной, каждый раз он приносил мне палку, и мы её тянули, кто перетянет. Он побеждал.

Его забрали первым – соседи сказали, что им в гараже нужен умный и сильный охранник. Бровкин им очень подходил, я-то знал. Вскоре те же соседи для своих друзей забрали Японку – она была заметно крупней малорослого Беляка, поэтому и выбрали девку. А Беляка в конце лета увёз мужик на грузовике. Он высунулся из кабины в расстегнутой до пятой пуговицы рубашке, загорелый, улыбающийся, белые зубы, много, – ни дать ни взять эпизодический герой из оптимистического полотна эпохи соцреализма.

– Ваши щенки? – спросил он, указывая на встрепенувшегося Беляка.

Неподалёку трусливо подрагивала хвостом Гренлан.

– Наши, – с улыбкой ответил я.

Он вытащил из кармана пятьдесят рублей:

– Продай пацана? Это пацан?

– Пацан, пацан. Я и так отдам.

– Бери-бери... Я в деревню его увезу. У нас уроды какие-то всех собак перестреляли.

– Да не надо мне.

Я подцепил Беляка и усадил мужику на колени, и в это мгновение мужик успел всунуть мне в руку, придерживающую Беляка под живот, полтинник и так крепко, по-мужски ладонь мою сжал своей заржавелой лапой, словно сказал этим пожатием: «У меня сегодня хороший день, парень, бери деньги, говорю». После такого жеста и отдавать-то неудобно. Взял, да.

– Марысенька, у нас есть денежки на мороженое! – вбежал я.

– Валиес умер, – сказала Марысенька.

– Что, невеста, осталась одна? – Я гладил Гренлан.

Наконец она привыкла к тому, что её гладят. Она хоть и озиралась на меня тревожно, но уже не заваливалась на спину в страхе. Весь вид её источал необыкновенную благодарность. Я не находил себе места. Я пошёл к Марысеньке. Она прилегла, потому что ей было жалко Валиеса.

Поднимался по лестнице медленно, как старик. Тихо говорил: «Сегодня... дурной... день...» На каждое слово приходилось по ступеньке. «Кузнечиков... хор... спит...»: ещё три ступеньки. И ещё раз те же строчки – на следующие шесть ступенек. Дальше я не помнил и для разнообразия попытался прочитать стихотворение в обратном порядке: «...спит...хор...кузнечиков», но обнаружил, что так его можно читать, только если спускаешься.

Я помедлил перед дверью: никак не мог решить, как мне относиться к смерти Валиеса. Я же его видел один раз в жизни. Легче всего было никак не относиться. Ещё помедлил, вытащив ключи из кармана и разглядывая каждый из ключей на связке, трогая их резьбу подушечкой указательного пальца левой руки.

В подъезде внезапно хлопнула входная дверь, и кто-то снизу сипло крикнул:

– Эй! Там вашу собаку убивают!

Я рванул вниз. Повторяемые только что строчки рассыпались в разные стороны. Вылетел на улицу, передо мной стоял мужик запойного вида – кажется, знакомый мне.

– Где? – крикнул я ему в лицо.

– Там... тётка... – он тяжело дышал. – Там вот... – он указал рукой. – Боксёр...

Я сам уже услышал собачий визг и, рванув на этот визг сквозь кусты, сразу всё увидел. Мою Гренлан терзал боксёр – мелкая, крепкогрудая, бесхвостая тварь в ошейнике. Боксёр, видимо, вцепился сначала в её глупую, жалостливую морду и порвал бедной псине губу. Растерзанная губа кровоточила. Из раскрытого рта нашей собаки раздавался дикий визг, держащийся неестественно долго на одной ноте. Едва стихнув, визг возобновлялся на ещё более высокой ноте.

Неизвестно, как она вырвала свою морду из пасти боксёра, но теперь, неумолчно визжа, Гренлан пыталась уползти на передних лапах. Боксёр впился ей в заднюю ногу. Нога неестественно выгнулась в сторону, словно уже была перекушена. «Если я сейчас ударю боксёра в морду, он отвалится вместе с ногой!» – в тоске подумал я.

Я огляделся по сторонам, ища палку, что-нибудь, чем можно было бы разжать его челюсти, и заметил женщину, жирную, хорошо одетую, стоящую поодаль. В руке у неё был поводок, она им поигрывала. «Да это её собака!»

– Ты что делаешь, сука? – выкрикнул я и отчётливо понял, что сейчас убью и её, и её боксёра.

Женщина улыбалась, глядя на собак, и даже что-то прищёпывала. Её отвлёк мой крик.

– Чего хотим? – спросила она брезгливо. – Развели тут всякую падаль...

– Сука, ты сама падаль! – заорал я, схватил с земли здоровый обломок белого кирпича, сделал шаг к тётке, сохранявшей спокойствие и брезгливое выражение на лице, но потом вспомнил о своей сучечке терзаемой.

Не выпуская из рук обломка, я подскочил к собакам и со всей силы, уже ни в чём не отдавая отчёта, пнул боксёра в морду. Боксёр с лязгом разжал челюсти и, чуть отскочив, встал боком ко мне. Мне показалось, что он облизывается.

– Не тронь! Я на тебя его натравлю, подонок! – услышал я женский голос.

Не обращая внимания на крик, я бросил кирпич и попал собаке в бочину.

– Bravo! – вырвался у меня хриплый, счастливый крик.

Боксёр взвизгнул – как харкнул, и рванул в кусты.

«Надеюсь, я отбил ему печёнку...»

Я не успел заметить, куда делась Гренлан, помню лишь, что, едва боксёр выпустил её, она, ступая на три лапы, поковыляла куда-то, в смертельном ужасе торопясь, оборачиваясь назад и вращая огромными глазами. Четвёртая её лапа хоть и не отвалилась, но была так жутко искривлена, что даже не касалась земли.

Тетка орала на меня красивым, с переливами, голосом. Я не разбирал, что она орала, мне было всё равно. Я нашёл брошенный кирпич и повернулся к ней, подняв мелко дрожащую руку, сжимая обломок.

– Сейчас я тебе башку снесу, – сказал я внятно и негромко. Сердце моё тяжело билось.

– Тебя посадят, подонок! – крикнула она, глядя на меня бешено и всё так же брезгливо.

– А тебя положат!.. На! – крикнул я и с силой бросил камень ей в ноги, он подпрыгнул и вдарил её под колено.

Из ранки, по разорванным чулкам, сразу пошла кровь. От удара она сделала два шага назад и стояла, не двигаясь, глядя сквозь меня, словно смотреть на меня было ниже её достоинства. Я подскочил и снова схватил кирпич, хотя вполне уже мог ударить её рукой, но рукой не хотелось. Хотелось забить камнем. Но схлынула уже первая злоба, и я понимал, чувствовал, что уже нет – не могу, наверное, уже не могу.

– На хер! – заорал я снова, подняв руку с зажатым в ней камнем. – На хер пошла!

Она развернулась и пошла. Она хотела нести голову прямо, высоко и брезгливо – так, как она, наверное, носила её давно, но страх заставлял её вжимать голову в плечи – и поэтому, раздраемая своим гонором и своим страхом, она подёргивалась, как гусыня. Я плюнул ей вслед, но не доплюнул, снесло ветром.

«Гренлан... Где наша девочка?» – вспомнил я, побежал к нам во двор, но никого там не нашёл. «Где же она?»

Я присел на травку во дворе. Захотелось курить. Я сидел, нервно подрагивая и слушая сердце, стучащее у меня в висках. Отдышался и пошёл искать собаку. Ходил по округе до ночи. Вернулся ни с чем.

Ночью Марысенька спала беспокойно, и, положив ей руку на грудь, я услышал её сердцебиение.

– Сходим к Валиесу? – сказала она утром.

Мы надели тёмные одежды и пошли.

...Гроб вынесли из дома, он стоял у подъезда. Мы протиснулись к покойному сквозь несколько десятков человек. Протискиваясь, я слышал слова «сердце...», «инфаркт» и «мог бы ещё...». Никто не плакал. Лицо Валиеса было строгим. Шея его, такая обильная при жизни и, казалось, хранившая необыкновенное богатство модуляций, опала. Его голосу больше нигде было поместиться. Люди шептались и топтались. Захотелось, чтобы начался дождь. Мы вышли из толпы.

– На кладбище пойдём? – спросил я Марысеньку.

Она отрицательно качнула головой. Отойдя подальше от людей, мы встали у качелей. Я качнул их. Раздался неприятный, особенно резкий в тишине, воцарившейся вокруг, скрип. Ёкнуло под сердцем. Качели ещё недолго покачивались, но без звука.

Мы отправились домой. Завернули за угол дома, обнялись и поцеловались.

– Я люблю тебя, – сказал я.

– Я люблю тебя, – сказала она.

– Какой сегодня день недели? – спросил я.

Марыся оглядела смурюю улицу. На улице почти никого не было.

– Сегодня понедельник, – сказала она. Хотя была суббота.

– А завтра? – спросил я.

Марысенька молчала мгновение – не раздумывая о том, какой завтра день, а скорее решая, открыть мне правду или нет.

– Воскресенья не будет, – сказала она.

– А что будет?

Марысенька посмотрела на меня внимательно и мягко и сказала:

– Счастья будет всё больше. Всё больше и больше.

Грех

Ему было семнадцать лет, и он нервно носил своё тело. Тело его состояло из кадыка, крепких костей, длинных рук, рассеянных глаз, перегретого мозга.

Вечерами, когда ложился спать в своей избушке, вертел в голове, прислушиваясь: «и он умер... он... умер...»

Пытался представить, как кто-нибудь заплачет, и ещё закричит его двоюродная сестра, которую он юношески, изломанно, странно любил. Он лежит мёртвый, она кричит.

Где-то в перегретом мареве мозга уже было понимание, что никогда ему не убить себя, ему так нежно и страстно живётся, он иного состава, он тёплой крови, которой течь и течь, легко, по своему кругу, ни веной ей не вырваться, ни вспоротым горлом, ни пробитой грудиной.

Прислушивался к торкающему внутри «он умер... умер...» и засыпал, живой, с распахнутыми руками. Так спят приговорённые к счастью, к чужой нежности, доступной, лёгкой на вкус.

По дощатому полу иногда пробегали крысы.

Бабушка травила крыс, насыпала им по углам что-то белое, они ели ночами, ругаясь и взвизгивая.

По утрам он умывался во дворе, слушая утренние речи: пугливую козу, бодрую свинью, настырного петуха, – и однажды забыл прикрыть дверь в избушку. Зашёл, увидел глупых кур, суевившихся возле отравы.

Погнал их, закудахтавших (во дворе, строгий, откликнулся петух). Подпрыгивая, роняя перья, не находя дверь (петух во дворе неумолчно голосил, позёр пустой), куры выскочили наконец во двор.

Он долго, наверное несколько часов, переживал, что куры затоскуют, как всякое животное перед смертью, и передохнут: бабушка огорчится. Но куры выжили – может быть, склевали мало, или, вернее, им не хватило куриного мозга понять, что они отравились.

Крысы тоже выжили, но стали гораздо медленнее передвигаться, словно навек задумались и больше никуда не спешили.

Однажды ночью, напуганный шорохом, включил свет в избушке. Крыса, казалось, бежала, но никак не могла пересечь комнату. Глядя на внезапный свет, забыла путь, пошла странной окружностью, как в цирке.

Схватил кочергу, вытянул тонкое, с тонкими мышцами тело, ударил крысу по хребту, и ещё раз, и ещё.

Присел на корточки, разглядывал хитрый, смежившийся глаз, противный лысый хвост. Подхватил кочергой труп, вынес во двор, стоял, босой, глядя на звёзды, с мёртвой крысой.

С тех пор перестал говорить на ночь: «...он... умер...»

Проснувшись, закрывал скрипучую дверь в избушке, где дневал-ночевал, никому не мешая, читая, глядя в потолок, дурака валяя, и шёл в дом, где бабушка давно встала, чтоб подоить козу, выпустить кур, отогнать уток на реку, приготовить завтрак, а дед сидел за столом, стекластые очки на носу, чинил что-то, громко дыша.

Он заглядывал в большую комнату, видел спину деда и сразу исчезал беззвучно, пугаясь, что его попросят помочь. Он ещё мог разобрать что-нибудь, но собрать обратно... детали сразу теряли смысл, хотя недавно казалось, что их уклад ясен и прост. Оставалось только смести рукой металлическую чепуху, невозвратно бросить в иной мусор, самого себя стыдясь и глупо улыбаясь.

– Встал? – говорила бабушка приветливо, тихо двигаясь, никогда не суетясь у плиты.

Он присаживался за столик на маленькой кухне, следя за мушиными перелётами. Поднимался, брал хлопущку – деревянную палку, увенчанную чёрным резиновым треугольником, под звонким ударом которого всмятку гибли мухи.

Бить мух было забавой, быть может, даже игрой. То время, когда он ещё играл, было совсем недалеко, можно дотянуться. Иногда находил на чердаке, куда лазил за старыми, пропылёнными (и оттого ещё более желанными) книгами, безколёсные железные машины и терпко мучился желанием перенести их в свою избушку – если уж не по полу повозить, так хоть полюбоваться.

Бабушка хорошо молчала, и её молчание не требовало ответа.

Картошечка жарилась, потрескивая и салютуя, когда открывали крышку и ворошили её, разгорячённую.

Солёные огурцы, безвольные, лежали в тарелке, оплив слабым рассолом. Сальце набирало тепло, размякая и насыщаясь своим ароматом, – после холода, из которого его извлекли.

Он разгонял мух со стола и вдруг с интересом приглядывался к хлопущке – к её тонкому, крепкому, деревянному остову, врезающемуся в чёрный треугольник.

Бросал хлопущку, морщился брезгливо, вытирал руку о шорты, втягивал живот, в груди ломило, словно выпил ледяной воды (но вкуса влаги не осталось, только тягостная ломота).

«Отчего это мне дано... Зачем это всем дано... Нельзя было как-то иначе?»

– Дед-то будет завтракать? – спрашивала бабушка, выключая конфорку.

– Конечно, будет, – с радостью отвлекаясь от самого себя, бодро отзывался внук. Он знал, что дед без него не садился за стол.

Шёл в комнату, громко звал:

– Бабушка есть зовёт!

– Есть?.. – отзывался дед раздумчиво. – Я и не хочу вроде... Ну пойдём, посидим. – Он снимал очки, аккуратно складывал отвёртки и пассатижики, вставал, кряхтя. Тапки шлёпали по полу.

Спокойно, лёгким гусиным движением дед склонял голову перед притолокой и входил на кухню. Мельком, хозяйски оглядывал стол, будто выискивал: вдруг чего не хватает; но всё всегда было на месте, и, верится, не первый десяток лет.

– Не выпьешь, Захарка? – с хорошо скрытым лукавством спрашивал он.

– Нет, с утра-то зачем, – отвечал внук деловито.

Дед еле заметно кивал: хороший ответ. Степенно ел, иногда строго взглядывая на бабушку. Спрашивал что-то по хозяйству.

– Сиди уж! – отзывалась бабушка. – Не то без тебя я не знаю, чем курей кормить...

Почти неуловимое выражение мелькало на лице деда: «...дура баба – всегда дура...» – словно говорил он. Но на том всё и завершилось.

Старики никогда не ругались. Захарка любил их всем сердцем.

– Сестрят навещу, – говорил он бабушке, позавтракав.

– Иди-иди, – живо отзывалась бабушка. – И обедать к нам приходите.

Двоюродные сёстры жили здесь же в деревне, через два дома. Младшая, Ксюша, невысокая, миловидная, с хитрыми глазами, недавно стала совершеннолетней. Старшая, нежноглазая, черноволосая Катя, была на пять лет старше её.

Ксюша ходила на танцплощадку в другой край деревни, возвращалась в четыре утра. Но спала мало, просыпалась всегда недовольная, подолгу рассматривала себя в зеркальце, присев у окна: чтоб падал на лицо дневной свет.

К полдню она приходила в доброе расположение духа и, внимательно глядя в глаза пришедшему в гости брату, заигрывала с ним, спрашивала откровенное, желая услышать честные ответы.

Брат, приехавший на лето, сразу понял, что с Ксюшей недавно случилось важное, женское, и ей это радостно. Она чувствует себя увереннее, словно получила ещё одну интересную опору.

От вопросов брат отмахивался, с душой отвлекаясь на голоногого пацана, трёхлетнего Родика, сына Кати.

Муж старшей сестры служил второй год в армии.

Родик говорил очень мало, хотя уже пора было. Называл себя нежно «Одик», с маленьким, еле слышным «к» на конце. Всё понимал, только папу не помнил.

Захарка возился с ним, сажал на шею, и они бродили по округе, загорелый парень и белое дитя с пушистыми волосами.

Катя иногда выходила из дому, отвечая, слышал Захарка, Ксюше: «Ну конечно, ты у нас самая умная...» Или так: «Мне всё равно, чем ты будешь заниматься, но картошку почистишь!»

Строгость её была несерьёзна.

Выходила и внимательно смотрела, как Захарка – Родик на плечах – медленно идёт к дому.

– Камни, – говорил Захарка.

– Ками... – повторял Родик.

– Камни, – повторял Захарка.

– Ками, – соглашался Родик.

Они шли по щебню.

Катя, понимал Захарка, думала о чём-то серьёзном, глядя на них. Но о чём именно, он даже не гадал. Ему нравилось жить легко, ёжась на солнце, всерьёз не размышляя никогда.

– Проголодались, наверное, гуляки? – говорила Катя чистым, грудным голосом и улыбалась.

– Бабушка звала обедать, – отвечал Захарка без улыбки.

– Ой, ну хорошо. А то наша Глаша отказывается выполнять наряд по кухне.

– Моё имя Ксюша, – отвечала со всей шестнадцатилетней строгостью сестра, выходя на улицу. Она уже нацепила беспечную на ветру юбочку, впорхнула в туфельки, маечка с неизменно открытым животиком. На лице её замечательно отражались сразу два чувства: досада на сестру, интерес при виде брата.

«Посмотри, какая она дура, Захарка!» – говорила она всем своим видом.

«Заодно посмотри, какой у меня милый животик, и вообще...» – вроде бы ещё прочел Захарка, но не был до конца уверен в точности понятого им. На всякий случай отвернулся.

– Мы пока пойдём яблоки есть, да, Родик? – сказал пацану, сидящему на шее.

– И я с вами пойду, – увязалась Катя.

– Подём, – с запозданием отвечал Захарке Родик, к восторгу Кати: она впервые от него слышала это слово.

Они шли по саду, оглядывая ещё зелёные, тяжёлые, жёлтые сорта, к той яблоньке, чьи плоды были хороши и сладки уже в июле.

– Яблоки, – повторял Захарка внятно.

– Ябыки, – соглашался Родик.

Катя заливалась юным, чистым, сочным материнским смехом.

Когда Захарка откусывал крепкое, с ветки снятое яблоко, ему казалось, что Катин смех выглядит как эта влажная, свежая, хрустящая белизна.

– А мы маленькие, мы с веточки не достаём, – в шутку горилась Катя и собирала попадавшие за ночь с земли. Она любила помягче, покраснее.

По очереди они скармливали небольшие дольки яблок Родику, спущенному на землю (Захарка пугался случайно оцарапать пацана ветками в саду).

Иногда, не заметив, подавали вдвоём одновременно два кусочка яблочка: безотказный Родик набивал полный рот и жевал, тараща восторженные глаза.

– У! – показывал он на яблоко, ещё не снятое с ветки.

– И это сорвать? Какой ты... плотоядный, – отзывался Захарка строго; ему нравилось быть немного строгим и чуть-чуть мрачным, когда внутри всё клокотало от радости и безудержно милой жизни. Когда ещё быть немного мрачным, как не в семнадцать лет. И ещё при виде женщин, да.

Чуть погода в саду появлялась Ксюша: ей было скучно одной в доме. К тому же брат...

– Почистила картошку? – спрашивала Катя.

– Я тебе сказала: я только что покрасила ногти, я не могу, это что, нужно повторять десять раз?

– Отцу расскажешь про свои ногти. Он тебе их пострижёт.

Ксюша срывала яблочко с другой яблони – не той, что была по сердцу старшей сестре, ни в чём не хотела ей последовать. Ела нехотя, всё поглядывая на брата.

– Вкусно зелёненькое? – спрашивала Катя с милым ехидством, с прищуром глядя на Ксюшу.

– А твоё червивенькое? – отвечала младшая.

К обеду все они шли к старикам. Сёстры немедля мирились, когда речь заходила о деревенских новостях.

– Алька-то с Серёгой, – утверждала Ксюша.

– Быть не может, он же на Гальке жениться собирался. Сваты уже ходили, – не верила Катя.

– Я тебе говорю. Вчера на мотоцикле проезжали.

– Ну, может, он её подвозил.

– В три часа ночи, – издевательски отвечала Ксюша. – За мосты...

«За мосты» – так называли те уютные поляны, куда влюблённые деревенские уезжали на мотоциклах или уходили парой.

Захарка посмотрел на сестёр и подумал, что и Катя ходила «за мосты», и Ксюша тоже. Представил на большое мгновение задранные юбки, горячие рты и закрутил головой, отгоняя морок, сладкий такой морок, почти невыносимый.

Отстал немного, смотрел на щиколотки, икры сестёр, видел лягушачьи, загорелые ляжечки Ксюши и – сквозь наполненный солнечным светом сарафан – бёдра Кати, только похорошевшие после родов.

Хотелось, чтобы рядом, в нескольких шагах, была река: он бы нырнул с разбегу в воду и долго не всплывал бы, двигаясь медленно, тихо касаясь песчаного дна, видя увиливающих в мутной полутьме рыб.

– Ты чего отстал? – спросила Ксюша, оборачиваясь.

Захарке хотелось, чтобы этот вопрос задала Катя.

Катя разговаривала с Родиком.

– Пойдёмте купаться? – предложил он вместо ответа.

– А ты Родика донесёшь? – спросила Катя, обернувшись, – несколько шагов она шла по улице вперёд спиной, улыбаясь брату.

Захарка расплылся в улыбке, против своей мрачной воли.

– Ко. Неч. Но, – ответил он, глядя Кате в глаза.

Родик тоже, подражая матери, развернулся и пошёл задом, посекундно оборачиваясь, сразу запутался в своих ногах, повалился, и все засмеялись.

Они уже не помещались на кухне и обедали в большой комнате, за длинным столом, покрытым цветастой клеёнкой, тут и там случайно порезанной ножом, с пригоревшим полу-месяцем раскалённого края сковороды.

Сёстры хрустели огурцами.

Захарке нравился их прекрасный аппетит.

Было много солнца.

Катя положила Родiku картошки в блюдечко. Он копошился в ней руками, весь в сале и масле, поминутно роняя картошку на ноги. Катя подбирала картошку с ножек своего дитя и ела, вся лучась.

Захарка сидел напротив, смотрел на них и тихо гладил голой ступнёй ногу Кати. Она не убирала ноги, и казалось, вовсе не обращает внимания на брата. Опять подзуживала младшую сестру, слушала бабушку, рассказывавшую что-то о соседке, не забывала любоваться Родиком. Только на Захарку не смотрела вовсе.

Зато он видел её неотрывно.

Ксюша замечала это ревниво.

Хлеб был очень вкусный. Картошка замечательно сладкой.

Ели из общей сковороды, огромной, прожаренной, надёжной.

– Завтра дед свинью будет резать, – сказала бабушка.

– Ой, хорошо, что напомнила, – сказала Катя.

– А что? – спросила бабушка.

– Не приду завтра, не могу видеть.

– А кто тебя неволит, не ходи на двор да и не смотри, – засмеялась бабушка.

– Я тоже не приду, – впервые согласилась с сестрой Ксюша.

Сёстры помогли убрать со стола. Захарка в это время смастерил на улице лук – скорей не для Родика, а для себя. Что Родiku лук, как ему с ним справиться.

Но пацан неотрывно следил за работой Захарки: как он сначала нашёл и срубил подходящий сук, потом, прогнув его, намотал бечёвку, попадая в специально прорезанные желобки.

– Лук, – говорил Захарка внятно. – Ллук!

– Ук, – повторял Родик.

– Он у тебя скоро заговорит, – сказала вышедшая Катя.

– На охоту пойдёте? – спросила вслед появившаяся Ксюша. – Возьмёте меня? Родик, возьмёте меня?

Родик, не мигая, смотрел на Ксюшу. Захарка, не моргая, на Катю.

– Только картошку всё равно надо почистить, – сказала Катя. – Перед тем, как купаться пойдём. А то папке будет нечего есть...

Они забежали к сёстрам. Катя поставила на пол ведро с водой, ведро с картошкой и кастрюльку. Расселись вокруг. Раздала ножи. Ксюше – самый маленький и непоправимо тупой. Та, ругаясь, пошла менять ножик.

Чистили втроём, смеясь чему-то. Родик крутился возле. Катя прикармливала его сырой картошкой.

Ксюша корила её:

– Ну что делаешь? Вот мать, а. Как тебе доверили ребёнка...

– Смотри, чтоб тебе не доверили, – отвечала Катя, сдувая павшую прядь с лица и затем поправляя её кистью руки, сжимающей нож.

Захарка веселился и старался не смотреть сёстрам на колени: у Ксюши они были загорелее, у Кати – белее. У Кати – круглые, у Ксюши – с изящной выпуклой костью, как у какого-то высокого зверя, быть может, лани...

А ещё Катя сидела чуть дальше от ведра с картошкой, и когда склонялась...

«Боже ты мой, что ж ты пристал ко мне с этим...»

Захарка выходил на улицу. Медленно бродили куры, тупые от жары.

– Ахака! – засмеялась Катя в доме, голос её приближался. – Слышал, что он сказал? «Де Ахака?» Вот твой Ахака, Родик! Вот он де.

Родик выбежал на заплетающихся ножках, солнечные ресницы, ушки в пушке.

До реки было минут десять ходьбы. Захарка снял шорты и бросился в воду с разбегу, чтобы не видеть, как раздеваются сёстры. «Вообще бы их не видеть...» – подумал весело, неправдиво и сразу обернулся на их голоса.

– Как водичка? – спросили сёстры одновременно, посмотрели друг на друга сначала недовольно, словно подозревая в издёвке, и тут же засмеялись.

В этот день они больше не ссорились.

Катя прихватила с собой яблок. Лёжа на берегу, копошась ногами в песке, они грызли румяные плоды. Захарка кидал огрызки в воду.

– Ну зачем? – тянула брезгливая Ксюша.

– Рыбки съедят.

Катя поминутно садилась и кричала:

– Родик, не заходи глубоко! Нельзя! Там рыбки! Ай!

– Там? – переспрашивал Родик, показывая пальчиком на середину реки, и, вдохновлённый, ступал дальше.

– Захарка, скажи ему, он только тебя слушается.

Брат смотрел, грызя яблочный черенок, как из-под плавок Кати выбилось несколько чёрных завитков, прилипнув к белой, сырой, в золотящихся, непросохших каплях ноге.

– Родик! – закричал он неожиданно для самого себя громко, так, что пацан вздрогнул.

– Господи, что ж ты так кричишь! – всполошилась Катя, резко поднявшись с песка.

– Я к нему пойду, лежите... – Захарка дошёл до Родика. – Камыша нарвём? – предложил ему. – Лук у нас уже есть, стрелы нужны.

– Подём, – готовно ответил Родик и вылез из воды.

Они пошли вдоль берега, маленькая, невинная лапка в юной руке со странной линией судьбы и глубокой – жизни.

Вернулись с поломанным на стрелы камышом. По дороге Захарка нашёл проволоку, накрутил на одну из тростин.

– Ну что, лягушки, заждались жениха? – спросил, натягивая тетиву.

Сёстры развернулись, улыбаясь разморенно. Поднял лук вверх, спустил камышовую тростину, та взлетела неожиданно высоко.

Родик сразу потерял стрелу из виду, не понял, куда она делась, смотрел округ себя, удивлённый.

Разбудил визг свиньи.

«Режут уже! Чёрт, не успел!»

Вскочил с кровати, натягивал шорты, едва не падая.

Но свинью пока лишь привязали: перетянутая впившимися в жирную шкуру веревками, она стояла в темноте сарая и каждый раз при появлении человека начинала визжать.

Захарка наблюдал её, встав в проёме дверей, едва разлепив глаза, ещё не умывшийся, улыбался.

Не было ни единой мысли в голове, но где-то под сердцем тихо торкал в кровь странный вкус сладости чужой, пусть животной, смерти.

«Кричишь, свинья? Хочется тебе жить?» – что-то такое подрагивало в тёмном и тайном закутке мозга.

Хотя рассудок, внятный человеческий рассудок подсказывал: надо жалеть, как же так, неужели не жалко?

«Жалко», – согласился без усилия.

Визг, впрочем, долго терпеть было невозможно.

Захлопнул дверь, подошёл к деду, сидевшему на пенёчке. Дед подтачивал и без того жуткий нож, всё время отсвечивающий на солнце длинным лезвием.

На Захарку дед не посмотрел, строгий.

– Откуда она знает, что её зарежут? – громко спросил Захарка, едва визг умолк.

Дед на секунду поднял маленькие и отчего-то, как показалось Захарке, не приветливые глаза. Встал, зачем-то побрёл к себе в мастерскую.

«Не расслышал», – подумал Захарка.

– Зверь всё знает, – сказал дед негромко, сам себе, ни к кому не обращаясь.

Через минуту дед вернулся, и Захарка понял, что ошибся, подумав о тяжёлом настроении деда.

– Не видел, как свинью режут? – спросил дед просто.

– Нет, – ответил Захарка радостно.

Дед кивнул. Не было ясно, что это означает: ну, сегодня узнаешь – или: и хорошо, что не видел.

Появилась бабушка, позвякивая железными тазами, которых исхитрилась принести сразу штук шесть.

Посмотрела на деда, медленно копошащегося, но торопить не стала, хотя неумолчный визг ей слушать вовсе не желалось.

Захарка потоптался с минуту и решил сбежать в туалет.

Деревянная, приветливая, оклеенная изнутри старыми обоями будка стояла возле огорода. Подходя к туалету, Захарка каждый раз оглядывал грядки с арбузами.

Арбузы были обидно малы и зелены.

«Не успеют к моему отъезду, не успеют», – привычно огорчился Захарка.

Внутри туалета всегда было сумрачно, но с хорошими солнечными просветами сквозь щели меж досок. Неизменно летали одна или две тяжёлые мухи. Никогда не садились больше чем на несколько секунд. Снова жужжали стервенело.

На гвозде – старый «Журнал сельского механизатора». В который раз Захарка рассматривал его, ничего не понимая. В этом непонимании, ленивом разглядывании запyleвших страниц, солнечных щелях, беспутных мухах, близости деревянных стен, жёлтых обоев, тут и там оборванных, ржавой задвижке, покрытом чёрной толью, чтоб не подтекало, потолке – во всём была тихая, почти недостижимая, лирическая благодать.

Свинья завизжала жутче, страшнее, отрешённой. Захарка поспешил.

Визг оборвался, когда он ещё не добежал. Ещё пришлось бабушку пропустить: она куда-то торопилась, и по её виду – чуть взволнованному, но и успокоенному одновременно («... всё кончено, слава богу...») – Захарка понял, что свинью зарезали.

Дед неспешно красными руками развязывал (мог бы разрезать, но не стал, сберёт веревки) узлы, прикрепившие свинью к стояку сарая.

«Нарочно он меня не дождал... или не нарочно?» – подумал Захарка и не нашёл ответа.

Сначала, освобождённый, обвис зад свиньи – но она ещё держалась, привязанная к стояку за мощную шею. Дед отодвинул таз, полный кровью, натёкшей из перерезанного горла, и распустил верёвку на шее. Свинья с мягким звуком упала.

Захарка подошёл ближе, с интересом разглядывая смолкшее животное. Обычная свинья, только мёртвая. Ровный разрез на горле, много белого сала.

– Что-то нож не вижу... – осматривался дед. – Захарка, посмотри.

Нож был воткнут в стену сарая. Рукоятка его была тепла, лезвие в подсыхающей крови.

Он подал нож деду, держа за остриё. Измазал пальцы, смотрел потом на них.

Свинье взрезали живот, она лежала, распавшаяся, раскрытая, алая, сырая. Внутренности были тёплыми, в них можно было погреть руки. Если смотреть на них прищурившись, в лёгком

дурмане, они могли показаться букетом цветов. Тёплым букетом живых, мясных, животных цветов.

Дед уверенно извлекал сердце, почки, печень. Кидал в тазы. Выдавил рукой содержимое прямой кишки.

Живое существо, смуро встречавшее Захарку по утрам, теревшееся боком о сарай, возбуждённо похрюкивающее при виде ведра со съестным, умеющее, в конце концов, издавать удивительной силы визг, – существо это оказалось ничтожным, никчёмным, его можно было разрезать, расчленить, растащить по кускам.

И вот уже лежала отдельная, тупая свиная голова, носом вверх, с открытой пастью. Казалось, что свинья желает завывать, вот-вот завоет.

И, видя эту голову, даже куры немного придурели, и петух ходил стороной, и коза смотрела из темноты иудейскими страдающими глазами.

Захарка прошёл в дом, бабушка, спешившая навстречу с тряпкой в руке, сказала:

– Покушай, я там оставила...

Но он не стал – и не потому, что расхотел есть от вида резаного поросё. Ему не терпелось к сёстрам. Всё это живое, пресыщенное жизнью в самом настоящем, первобытном её виде и вовсе лишённое души, – всё это с яркими, цветными, ароматными внутренностями, с раскрытыми настезь ногами, с бессмысленно задранной вверх головой и чистым запахом свежей крови не давало, мешало находиться на месте, влекло, развлекало, клекотало внутри.

Та самая тягостная ломота, словно от ледовой воды, мучившая его, неожиданно сменилась ощущением сладостного, предчувствующего жара. Жарко было в руках, в сердце, в почках, в лёгких: Захарка ясно видел свои органы, и выглядели они точно теми же, что дымились перед его глазами минуту назад. И от осознания собственной тёплой, влажной животности Захарка особенно страстно и совсем не болезненно чувствовал, как сжимается его сердце, настоящее мясное сердце, толкающее кровь к рукам, к горячим ладоням и в голову, ошпаривая мозг, и вниз, к животу, где всё было... гордо от осознания бесконечной юности.

Прихватил зачем-то лук, валявшийся у дома, шёл с таким ощущением, словно только что убил зверя, и не казался самому себе смешным.

Первым увидел Родика, тот уже распугивал кур, и так его боявшихся. С трудом сдержался от того, чтоб рассказать Родике, как всё было. Даже произнёс несколько слогов и оборвал себя, вхолостую шевеля нелепыми губами.

Вышла Ксюша. И Катя вышла следом.

– Ну что... зарезали свинью? – спросила Катя, расширяя глаза и такой вид имея, словно убитая свинья вот-вот должна прийти, сипя и хлюпая раскрытым горлом.

Ксюша тоже смотрела напуганно:

– Отсюда слышно было, как визжит. Мы все двери и окна закрыли с Катькой, – сказала.

Захарка любовался на сестёр, счастливые глаза переводя с одного милого лица на второе – прекрасное, и выискивал то слово, с которого стоит начать и поведать про сердце, горло, кровь, но вдруг разом, в одну секунду понял, что сказать ему нечего.

– У вас есть пустые консервные банки? – спросил.

– Есть, – пожав плечами, ответила Ксюша. – Вон, в мусоре вроде были.

Захарка нарезал от трёх консервных банок крышки. Разделил каждую большими ножницами пополам. Пассатижами скрутил, подогнал ко вчерашним камышинам, подбил молотком получившееся острие.

Сёстры разошлись по своим делам, только Родик перетаптывался рядом, иногда повторяя «Ук!», и подолгу сомнительно молчал на Захаркино: «Стрелы! Скажи: стрелы!»

– Еы.

– Точно, – согласился Захарка.

Натянул тетиву, запустил стрелу, она взмыла стремительно, потом, казалось, на мгновение застыла в воздухе и мягко пала вниз, в землю воткнувшись.

– Вау, – сказала Ксюша, выйдя с половой тряпкой на крыльцо. – Как красиво.

Пошатываясь на ветерке, стрела торчала вверх.

– Стоит, – добавила Ксюша мечтательно.

«В хорошем настроении сегодня, – подумал Захарка. – Полы моет».

Не сдержался и спросил:

– Ты что это за грязный труд взялась?

– Ремонт начинаем сегодня. Нашей Ксюше так хочется свою комнатку в оранжевые цвета раскрасить, что готова на любые жертвы, – ответила Катя за Ксюшу.

Ксюша, обиженная и на сестру, и на брата, выжимала грязную воду из тряпки.

Захарка побродил по саду, погрыз нехотя яблоко.

Понесил Родика на шее, потом пацана отправили спать, и Захарка, чтоб не мешаться истово прибирающимся сёстрам, отправился к себе.

Во дворе бабушка уже затёрла кровь, а свиньи не осталось вовсе: только мясо в тазах.

Скрипнув дверью, вошёл в избушку.

Было душно. Он стянул шорты, вылез, чуть взъерошенный, из майки. Упал на кровать, покачиваясь на её пружинах. Завалился на бок, потянулся рукой к старой книге с затрёпанной обложкой и без многих страниц, да так и не донёс её к себе. Припал щекой к подушке, притих. Вдруг вспомнил, что не выспался, закрыл глаза, сразу увидев Катю, о Кате, Катино, Катины...

Лежал, помня утренний визг, полёт стрелы, чёрную воду из тряпки, вкус яблока, яблоню качает, раскачивает, кора близко, тёмная кора, шершавая кора, кора, ко... ра... ко...

Скрипнула дверь, проснулся мгновенно. «Катя», – ёкнуло сердце.

Вошла Ксюша в смешном купальнике: всё на каких-то завязочках с бантиками.

Расцурив глаза, Захарка смотрел на неё.

– Разбудила, спал? – спросила она быстро.

Он не ответил, потягиваясь.

– Мы купаться собрались, – добавила Ксюша, присев на кровать так, чтобы коснуться своим бедром бедра брата. – А то от краски уже голова болит: мы красить начали. Двери.

Захарка кивнул головой и ещё раз потянулся.

– Ты отчего молчишь? – спросила Ксюша. – Ты почему всё время молчишь? – повторила она веселее и на тон выше – тем голосом, какой обычно предшествует действию. Так оно и было: Ксюша легко перекинула левую ножку через Захарку и села у него в ногах, крепко упираясь руками ему в колени, сжимая их легко. Вид у неё был такой, словно она готовится к прыжку.

«Я вроде бы и не молчу...» – подумал Захарка, с интересом разглядывая сестру.

Ступнями он чувствовал её холодные, крепкие ягодицы, она чуть раскачивала задком из стороны в сторону и вовсе неожиданно пересела выше, недопустимо высоко – прижав ноги к его бёдрам и тихо щекоча Захарку под мышками.

– А щекотки ты боишься? – спросила она, и без перерыва: – Какая у тебя грудь волосатая... Как у матроса. Ты куда пойдёшь в армии служить? В матросы? Тебя возьмут.

Вид у Ксюши был совершенно спокойный, словно ничего удивительного не происходило.

Но Захарка, когда она шевелилась и ёрзала на нём, внятно чувствовал, что под тканью её смешной, в бантиках, одежды живое, очень живое...

Это продолжалось ровно столько, чтобы обоим стало ясно: так больше нельзя, нужно сделать что-то другое, невозможное.

Ксюша смотрела сверху спокойными и ждущими глазами.

– Мне так неудобно, – вдруг сказал Захарка, ссадил Ксюшу и сел напротив неё, прижав колени к груди.

Они проговорили ещё минуты две, и Ксюша собралась уходить.

– Ну, пойдём купаться? – спросила уже на улице, обернувшись.

– Идём-идём, – ответил Захарка, провожая её.

– Тогда я Катку позову. И мы зайдём за тобой, – Ксюша, вильнув бантиком, вышла со двора.

– Катку позову... – повторил он без смысла, как эхо.

Подошёл к рукомойнику, похожему на перевернутую немецкую каску. Из отверстия в центре рукомойника торчал железный стержень. Если его поднимаешь – течёт вода.

Захарка стоял недвижимо, пристально разглядывая рукомойник, проводя кончиком языка по тыльной стороне зубов. Чуть приподнял железный стержень: он слабо звякнул. Воды не было. Потянул за стержень вниз.

Неожиданно заметил на нём сохлый отпечаток крови.

«Наверное, дед, когда свинью резал, хотел помыть руки...» – догадался.

Вечером Ксюша ушла на танцы, а Катя с Родиком пришли ночевать к бабушке с дедом: чтобы пацан не захворал от тяжёлых запахов ремонта.

Долго ужинали. Разморённые едой, разговаривали мирно, неторопливо. Помаргивала лампадка у иконы. Захарка, выпивший с дедом по три полрюмочки, подолгу смотрел на икону, то находя в женском лице черты Кати, то снова теряя. Родик так точно не был похож на младенца.

Его уже несколько раз отправляли спать, но он громко кричал, протестуя.

Захарке не хотелось уходить в избушку, он любовался на своих близких, каких-то особенно замечательных в этот вечер.

Ему вдруг тепло и весело примнилось, что он взрослый, быть может, даже небритый мужик и пахнет от него непременно табаком, хотя сам Захарка ещё не курил.

И вот он, небритый, с табачными крохами на губах, и Катя его жена. И они сидят вместе, и Захарка смотрит на неё любовно.

Он только что приплыл на большой лодке, правя одним веслом, привёз, скажем, рыбы, и высокие чёрные сапоги снял в прихожей. Она хотела ему помочь, но он сказал строго: «Сам, сам...».

Захарка неожиданно засмеялся своим дурацким мыслям, Катя, оживлённо разговаривавшая с бабушкой, мелькнула по нему взглядом, таким спокойным и понимающим, словно знала, о чём он думает, и вроде бы даже кивнула легонько: «...Ну, сам так сам... Не бросай их только в угол, как в прошлый раз: не высохнут...»

Захарка громко съел огурец, чтобы вернуться в рассудок.

Дед, давно уже вышедший из-за стола слушать вечерние новости, прошёл мимо них из второй комнаты на улицу, привычно приговаривая словно для себя, незлобно:

– Сидите всё? Как только что увиделись, приехали откуда...

Беседа случайным словом задела зарезанную нынче свинью. Катя сразу замахала руками, чтобы не слышать ничего такого, и разговаривавшая не в привычку бабушка вдруг рассказала историю, как в пору её молодости неподалёку жила ведьма. Дурная на вид, костлявая и вечно простоволосая, что не в деревенских обычаях. Травы сушила, а то и мышей, и хвосты крысиные, и всякие хрящи других тварей.

О бабке, между иным прочим, говорили, что она в свинью превращается ночами. Решили задорные деревенские парни проверить этот слух, пробрались ночью во двор к бабке, в поросячий сарай, и в минуту отрезали свинье ухо.

А ранним утром бабку, спешившую с первым солнцем за водой к речке, впервые видели в платке, и даже под чёрным платком было видно, что голова у неё с одной стороны замотана тряпкой.

Катя сидела притихнув, неотрывно глядя на бабушку. Захарка смотрел Кате через плечо, в окошко, и вдруг сказал шёпотом:

– Кать, а что там в окне? Никак свинья смотрит?

Катя вскочила и взвизгнула. Бабушка ласково засмеялась, прикрывая красивый рот кончиком платочка. Да и Катя охала, перебегая от окошка на другой конец стола, не совсем серьёзно. Однако на Захарку начала ругаться очень искренне:

– Дурак какой! Я же боюсь этого всего...

Посмеялись ещё немного.

– Сейчас пойдёшь в свою избушку, а тебя самого свинья укусит, – посулила Катя негромко.

Захарка отчего-то подумал, что свинья укусит его за вполне определённое место, и Катя о том и говорила. У него опять мягко ёкнуло в сердце, и он не нашёлся, что ответить про свинью, потому что подумал совсем о другом.

– А ты тут оставайся спать, – предложила бабушка Захарке полувшутку, полувсерьёз, словно и правда опасаясь, чтоб внука не покусала нечисть; сама бабушка никогда ничего не боялась. – Места хватит, всем постелем, – добавила она.

– Изба большая – хоть катайся, – сказал вернувшийся с улицы дед, обычно чуть подгловатый, но иногда неожиданно слышавший то, что говорилось негромко и даже не ему.

Все снова разом засмеялись, даже Родик скривил розовые губёшки.

Дед издавна считал свою избу самой большой если не во всей деревне, то на порядке точно.

Сходит к кому-нибудь, например, на свадьбу, вернётся и скажет:

– А наша-то, мать, изба поболее будет. Тесно там было как-то.

– Да там четыре комнаты, ты что говоришь-то, – дивилась бабушка. – И сорок три человека званых.

– Ну, комнаты... – бурчал дед басовито. – Будки собачьи.

– У нас тут восемнадцать душ жило, при отце моём, – в сотый раз докладывал он Захарке, если тот случался поблизости. – Шесть сыновей, все с жёнами, мать, отец, дети... Лавки стояли вдоль всех стен, и на них спали. А ей вдвоём теперь тесно, – сетовал на бабушку.

В этот раз он про восемнадцать человек не сказал, прошёл, делая вид, что смеха не слышит и не видит. Включил в комнате телевизор погромче – так, чтоб его гомон наверняка можно было разобрать в соседнем доме, где жил алкоголик Гаврила, никаких электрических приборов не имевший.

Катя помогла бабушке прибрать со стола. Захарка изображал Родике битву на вилках, пока вилки у него тоже не отобрали, унеся вместе с остальной грязной посудой.

Они прошли в комнату, к подушкам и простыням, имеющим в деревне всегда еле слышимый, но приятный, чуть кислый вкус затхлости: от больших сундуков, обилия ткани, долго лежавшей в душной тесноте.

Захарке достался диван, он дождался, пока выключат свет, быстро разделся и лёг, запахнувшись одеялом, хотя было тепло.

Дед спал на своей кровати, бабушка на своей. Катя с Родиком прилегли на низкую лежанку, стоявшую в другом от Захарки углу комнаты.

Захарка, не шевелясь, слушал Катю, её вздохи, её движения, её голос, когда она строгим шёпотом пыталась урезонить Родика.

Словно пугаясь, что и в темноте она увидит его взгляд, Захарка не смотрел в сторону Кати.

Родик никак не унимался, ему непривычно было на новом месте, он садился, хлопал пяткой по полу, пытался рассмешить мать, вертясь на лежанке. Когда он в который раз влез

куда-то под одеяло, запутавшись в пододеяльнике, Катя резко села, и сразу же раздался треск и грохот: в деревянной лежанке что-то подломилось.

Родик получил по затылку, заныл, убежал к бабушке на кровать.

Включили ночник: на лежанке спать было нельзя, она завалилась набок.

– Ложись к брату, – сказала просто бабушка.

Захарка придвинулся на край дивана, руки вдоль тела, взгляд в потолок, и всё равно заметил, как мелькнул белый лоскут треугольный. Катя легла у стены.

Они оба лежали не дыша. Захарка знал, что Катя не спала. Он не чувствовал тепла Кати, не касался сестры ни миллиметром своего тела, но неизъяснимое что-то, идущее от неё, ощущалось остро и всем существом.

Они не двигались, и Захарке было слышно, как у Кати взмаргивают ресницы. Потом в темноте раздавался почти неуловимый звук раскрывающихся, чуть ссохшихся губ, и тогда Захарка понимал, что она дышит ртом. Повторял это же движение, чувствовал, как воздух бьётся о зубы, и знал, что она испытывает то же самое: тот же воздух, тот же вдох...

Родик пролежал спокойно минут десять, казалось, что он уже заснул. Но вдруг раздался его ясный голос:

– Маме.

– Спи-спи, – сказала бабушка.

– Маме, – повторил он требовательно.

– К маме хочешь?

– Да. Маме, – внятно ответил Родик.

Катя не отзывалась. Но Родик уже перебрался через бабушку и, двигаясь наугад в темноте, подошёл к дивану.

Захарка подхватил его и положил между собой и Катей. Пацан счастливо засмеялся и сразу начал при помощи задранных вверх ножек какую-то бодрящую игру с одеялом. Тем более что ему было тесно, и своими острыми локотками он упирался одновременно в мамин бок и в Захаркин.

– Нет, так мы не заснём, – сказал Захарка.

Быстро, пока никто не успел ничего сказать, он вышел, прихватив с пола шорты и бросив напоследок добродушное:

– Пойду свинью навещу. Спите.

В прихожей он влез в свои шлёпанцы, надел, чертыхаясь, шорты и шагнул из дверей на улицу. Было звёздно, прохладно, радостно.

– Свинья не укусит, – повторял он, улыбаясь самому себе, не думая ни о какой свинье. – Не укусит, не выдаст, не съест...

В своей избушке сел на кровать и сидел, покачивая ногами, с таким видом, будто придумал себе занятие на всю ночь. Смотрел в маленькое окошко, где луна и туча.

Ранним свежим утром Захарка с большим удовольствием красил двери и рамы в доме сестёр. Постепенно теплело.

Когда появлялась Катя в белой рубашке, концы которой были завязаны у неё на животе, и в старом, завёрнутом по колени, восхитительно идущем ей трико, он легко понимал, что не заснул бы ни на секунду, если бы остался рядом с ней.

Много смеялся, дразня сестёр по пустякам, чувствовал, что стал непонятно когда увереннее и сильнее.

Ксюша повозила немного вялой кистью и ушла куда-то.

Катя рассказывала, веселясь, о сестре: какая она была в детстве и как это детство в одно лето завершилось. И о себе говорила, какие странности делала сама, юной. И даже не юной.

– Дура, – сказал Захарка в ответ на что-то, неважное.

– Как ты сказал? – удивилась она.

– Дура ты, говорю.

Катя замолчала, ушла разводить краску, сосредоточенно крутила в банке палкой, поднимая её и глядя, как стекает густое, медленное.

Спустя, наверное, часа три, докрасив, сидели на приступках дома. Катя чистила картошку, Захарка грыз тыквенные семечки, прикармливая кур.

– Ты первый мужчина, назвавший меня дурой, – сообщила Катя серьёзно.

Захарка не ответил. Посмотрел на неё быстро и дальше грыз семечки.

– И что ты по этому поводу думаешь? – спросила Катя.

– Ну, я же за дело, – ответил он.

– И самое страшное, что я на тебя не обиделась.

Захарка пожал плечами.

– Нет, ты хоть что-нибудь скажи, – настаивала Катя, – об этом...

– А на любимого мужа обиделась бы? – спросил Захарка только для того, чтобы спросить что-нибудь.

– Я люблю тебя больше, чем мужа, – ответила Катя просто и срезала последнюю шкурку с картошки.

С мягким плеском голый, как младенец, картофель упал в ведро.

Захарка посмотрел, сколько осталось семечек в руке.

– Чем мы с тобой ещё сегодня займёмся? – спросил, помолчав.

Катя смотрела куда-то мимо ясными, раздумывающими глазами.

В доме проснулся и подал голос Родик.

Они поспешили к нему, едва ли не наперегонки, каждый со своей нежностью, такой обильной, что Родик отстранялся удивлённо: чего это вы?

– Пойдём погуляем? – предложила Катя. – Надоело работать.

Невнятной тропинкой, ни разу не хоженной Захаркой, они тихо побрели куда-то задами деревни, с неизменным Родиком на плечах.

Шли сквозь тенистые кусты, иногда вдоль ручья, а потом тихой пыльной дорогой немного вверх, навстречу солнцу.

Неожиданно для Захарки выбрали к железной оградке, железным воротцам с крестом на них.

– Старое кладбище, – сказала Катя негромко.

Родику было всё равно, куда они добрались, и он понёсся меж могил и ржавых оградок, стрекоча на своём языке.

Они шли с Катей, читая редкие старорусские имена, высчитывая годы жизни, радуясь длинным срокам и удивляясь коротким. Находили целые семьи, похороненные в одной оgrade, стариков, умерших в один день, храбрых солдатиков, юных девушек. Гадали, как, отчего, где случилось.

У памятника без фото, без дат встали без смысла, смотрели на него. Катя – впереди, Захарка за её плечом, близко, слыша тепло волос и всем горячим телом ощущая, какая она будет тёплая, гибкая, нестерпимая, если сейчас обнять её... вот сейчас...

Катя стояла не шевелясь, ничего не говоря, хотя они только что балагурили без умолку.

Внезапно налетел, как из засады, Родик, и все оживились – поначалу невпопад, совсем неумело, произнося какие-то странные слова, будто пробуя гортань. Но потом стало получаться лучше, много лучше, совсем хорошо.

Вернулись оживлённые, словно побывали в очень хорошем и приветливом месте.

Снова с удовольствием взялись за кисти.

Весь этот день, и его запахи, краски, неестественно яркие цвета, обед на скорую руку – зелёный лук, редиска, первые помидорки, – а потом рулоны обоев, дурманящий клей, меша-

ющийся под ногами Родик, уже измазавшийся всем, чем только можно, – в конце концов его отвели к бабушке, – и всё ещё злая Ксюша («...поругалась со своим...» – шептала Катя), и руки, отмываемые уже в белёсых летних сумерках бензином, – всё это, когда Захарка наконец к ночи добрался до кровати, отчего-то превратилось в очень яркую карусель, кажется, цепочную, на которой его кружило, и мелькали лица с расширенными глазами, глядящими отчего-то в упор, но потом сиденья на длинных цепях относило далеко, и оставались только цвета: зелёный, синий, зелёный.

И лишь под утро пришла неожиданная, с дальним пением птиц, тишина – прозрачная и нежная, как на кладбище.

«...Всякий мой грех... – сонно думал Захарка, – всякий мой грех будет терзать меня... А добро, что я сделал, – оно легче пуха. Его унесёт любым сквозняком...»

Следующие летние дни, начавшиеся с таких медленных и долгих, вдруг начали стремительно, делая почти ровный круг цепочной карусели, проноситься неприметно, одинаково счастливые до того, что их рисунок стирался.

В последнее утро, уже собравшись, в джинсах, в крепкой рубашке, в удивляющих ступни ботинках, Захарка бродил по двору.

Думал, что сделать ещё. Не мог придумать.

Нашёл лук и последнюю стрелу к нему. Натянул тетиву и отпустил. Стрела упала в пыль, розовое перо на конце.

«Как дурак, – сказал себе весело. – Как дурак себя ведёшь».

Поцеловал бабушку, обнял деда, ушёл, чтоб слёз их не видеть. Сильный, невесомый, почти долетел до большака – так называлась асфальтовая дорога за деревней, где в шесть утра проходил автобус.

К сёстрам попрощаться не зашёл, чтоб их будить.

«Как грачи разорались», – заметил дорогой.

Ещё думал: «Лопухи, и репейник ароматный».

Ехал в автобусе с ясным сердцем.

«Как всё правильно, боже мой, – повторял светло. – Как правильно, боже мой. Какая длинная жизнь предстоит. Будет ещё лето другое, и тепло ещё будет, и цветы в руках...»

Но другого лета не было никогда.

Карлсон

В ту весну я уволился из своего кабака, где работал вышибалой. Нежность к миру переполняла меня настолько, что я решил устроиться в иностранный легион, наёмником. Нужно было как-то себя унять, любым способом.

Мне исполнилось двадцать три: странный возраст, когда так легко умереть. Я был не женат, физически крепок, бодр и весел. Я хорошо стрелял и допускал возможность стрельбы куда угодно, тем более в другой стране, где водятся другие боги, которым всё равно до меня.

В большом городе, куда я перебрался из дальнего пригорода, располагалось что-то наподобие представительства легиона. Они приняли мои документы и поговорили со мной на конкретные темы.

Я отжался, сколько им было нужно, подтянулся, сколько они хотели, весело пробежал пять километров и ещё что-то сделал, то ли подпрыгнул, то ли присел, сто, наверное, раз или сто пятьдесят.

После психологического теста на десяти листах психолог вскинул на меня равнодушные брови и устало произнёс: «Вот уж кому позавидуешь... Вы действительно такой или уже проходили этот тест?»

Дождаясь вызова в представительство, я бродил по городу и вдыхал его пахнущее кустами и бензином тепло молодыми лёгкими, набрав в которые воздуха, можно было, при желании, немного взлететь.

Скоро, через две недели, у меня кончились деньги, мне нечем было платить за снятую мной пустую, с прекрасной жёсткой кроватью и двумя гантелями под ней, комнатку и почти не на что питать себя. Но, как всякого счастливого человека, выход из ситуации нашёл меня сам, окликнув во время ежедневной, в полдня длиной, пешей прогулки.

Услышав своё имя, я с лёгким сердцем обернулся, всегда готовый ко всему, но при этом ничего от жизни не ждущий, кроме хорошего.

Его звали Алексей.

Нас когда-то познакомила моя странная подруга, вышивавшая картины, не помню, как правильно они называются, эти творенья. Несколько картин она подарила мне, и я сразу спрятал их в коробку из-под обуви, искренне подумав, что погоны пришивать гораздо сложнее.

Коробку я возил с собой. Наряду с гантелями она была главным моим имуществом. В коробке лежали два или три малограмотных письма от моих товарищей по казарменному прошлому и связка нежных и щемящих писем от брата, который сидел в тюрьме за десять, то ли двенадцать, грабежей.

Рядом с коробкой лежал том с тремя романами великолепного русского эмигранта, солдата Добровольческой армии, французского таксиста. Читая эти романы, я чувствовал светлую и тёплую, почти непостижимую для меня, расплывающегося в улыбке даже перед тем, как ударить человека, горечь в сердце.

Ещё там была тетрадка в клеточку, в которую я иногда, не чаще раза в неделю, но обычно гораздо реже, записывал, сам себе удивляясь, рифмованные строки. Они слагались легко, но внутренне я осознавал, что почти ничего из описанного не чувствую и не чувствовал ни разу. Порой я перечитывал написанное и снова удивлялся: откуда это взялось?

А вышивки своей подруги я никогда не разглядывал.

Потом у неё проходили выставки, оказалось, что это ни фиги не погоны, и она попросила вернуть картины, но я их потерял, конечно, – пришлось что-то соврать.

Однако на выставку я пришёл, и там она меня зачем-то познакомила с Алексеем, хотя никакого желания с ним и вообще с кем угодно знакомиться я не выказывал.

С первого взгляда он производил странное впечатление. Болезненно толстый человек, незажившие следы юношеских угрей. Черты лица расплзшиеся, словно нарисованные на сырой бумаге.

Однако Алексей оказался приветливым типом, сразу предложил мне выпить за его счёт где-нибудь неподалёку, оттого выставку я как следует не посмотрел.

Почему-то именно его вытолкнули на весеннюю улицу, чтобы меня окликнуть, когда у меня кончились деньги, и он, да, громко произнёс моё имя.

Мы поздоровались, и он немедленно присел, чтобы завязать расшнурованный ботинок. Я задумчиво смотрел на его макушку с редкими, потными, тонкими волосами – как бывают у детей, почти грудничков.

У него была большая и круглая голова.

Потом он встал, я и не думал начинать разговор, но он легко заговорил первым, просто выхватил на лету какое-то слово, то, что было ближе всех, возможно это слово было «асфальт», возможно – «шнурок», и отправился за ним вслед, и говорил, говорил. Ему всегда было всё равно, с какого шнурка начать.

Без раздумий я согласился ещё раз выпить на его деньги.

Опустошив половину бутылки водки, выслушав всё, что он сказал в течение, наверное, получаса, я наконец произнёс одну фразу. Она была проста: «Я? Хорошо живу; только у меня нет работы».

Он сразу предложил мне работу. В том же месте, где работал он.

Мы быстро сдружились, не знаю, к чему я был ему нужен. А он меня не тяготил, не раздражал и даже радовал порой. Он любил говорить, я был не прочь слушать. С ним постоянно происходили какие-то чудеса – он вечно засыпал в подъездах, ночных электричках и скверах пьяный и просыпался ограбленный, или избитый, или в стенах вытрезвителя, тоже, кстати, ограбленный.

Он обладал мягким и вполне тактичным чувством юмора. Иногда его раздумья о жизни выливались в красочные афоризмы. Трезвый, он передвигался быстро, но на недалёкие расстояния – скажем, до курилки, много курил, любил просторные рубашки, башмаки носил исключительно пыльные и всегда со шнурками.

Я обращался к нему нежно: Алёша. Ему было чуть за тридцать, он закончил Литературный институт и служил в армии, где его немыслимым для меня образом не убили.

Наша работа была нетрудна. Мы стали пополнением в одной из тех никчёмных контор, которых стало так много в наши странные времена. Они рождались и вымирали почти безболезненно, иногда, впрочем, оставляя без зарплат зазевавшихся работников, не почувствовавших приближающегося краха.

Вечерами, под конец рабочего дня, он тихо подходил ко мне и, наклонившись, говорил шёпотом:

– Что-то грустно на душе, Захар. Не выпить ли нам водки?

Мы выбредали с работы, уже чувствуя ласковый мандраж скорого алкогольного опьянения, и оттого начинали разговаривать громче, радуясь пустякам.

Почти всегда говорил он, я только вставлял реплики, не больше десятка слов подряд; и если сказанное мной смешило его – отчего-то радовался. Я не просил многого от нашего приятельства, я привык довольствоваться тем, что есть.

Приближаясь к ларьку, Алёша начинал разговаривать тише: словно боялся, что его застанут за покупкой водки. Если я, по примеру Алёши, не унимался у ларька, продолжая дурить, он пшикал на меня. Я замолкал, веселясь внутренне. У меня есть странная привычка иногда слушаться хороших, добрых, слабых людей.

Мы скидывались на покупку, чаще всего поровну, – однако Алёша ни разу не доверил мне что-то купить, отбирал купюру и оттеснял от окошка ларька с таким видом, что, если он не сделает всё сам, я непременно спутаюсь и приобрету коробку леденцов.

Он брал бутылку спиртного, густо-жёлтый пузырь лимонада и два пластиковых стаканчика. Никакой закуски Алёша не признавал. Впоследствии – так думал он – оставшиеся деньги наверняка пригодятся, когда всё будет выпито и этого, конечно же, покажется мало.

Мы уходили в тихий, запущенный дворик. В уголке дворика стояла лавочка – по правую руку от неё кривился барачный, старый, жёлтый дом, по левую – ряд вечно сырых, прогнивших сараев, куда мы, вконец упившись, ходили сливать мочу.

Подходя к лавочке, он говорил с облегчением: «Ну вот...» В том смысле – что всё получилось, несмотря на моё нелепое шумное поведение и надоедливые советы купить хоть чего-нибудь пожевать.

Водку он всегда убирал в свою сумку, разливая, когда считал нужным.

Мы сбрасывали с лавочки сор, стелили себе газетки, о чём-то негромко остряли. Шутки уже звучали в ином регистре: притихшая гортань словно приберегала себя для скорого ожога и не бурлила шумно и весело.

Закуривали, некоторое время сидели молча, разглядывая дым.

Потом Алёша разливал водку, я сидел, склонив голову, наблюдая за мягким течением светлой жидкости.

После первой рюмки он начинал кашлять и кашлял долго, с видом необыкновенного отвращения. Я жевал черенок опавшего листка, незлобно ругая себя за то, что не отобрал у Алёши немного денег купить мне еды.

Иногда из жёлтого, окривевшего на каждое окно здания выходили молодые люди, сутулые, с глупыми лицами, в трико, оттянутых на коленях, в шлёпанцах; громко разговаривали, неустанно матерясь и харкая на землю.

Я кривился и смотрел на них неотрывно.

– Только без эксцессов, Захар, я прошу тебя. Не надо никаких эксцессов, – сразу говорил Алёша, косясь в сторону, словно и взглядом не желал зацепить отвратное юношество.

– Не буду, не буду, – смеялся я.

В пьяном виде я имею обыкновение задираться, грубить и устраивать всякие глупости. Но в каком бы я ни был непотребном состоянии, я бы никогда не стал вмешивать в свои чудачества этого грузного, неповоротливого, с наверняка больной печенью человека. Ни подражаться, ни убежать – что ж ему, умирать на месте за мою дурость?

– Не буду, – повторял я честно.

Молодые люди кричали что-то своим девушкам, которые появлялись то в одном, то в другом окне на втором или третьем этаже. Девушки прижимались лицами к стеклу; на их лицах была странная смесь интереса и презрения. Покривившись, ответив что-то неразборчиво, девушки уходили в глубь своих тошных квартир с обилием железной посуды на кухнях. Иногда, вслед за девушками, в окне на мгновение появлялись раздражённые лица их матерей.

Наконец молодые люди разбредались, унося пузыри на коленях и мерзкое эхо поганого, неумного мата.

После второй рюмки Алёша веселел и пил всё легче, по-прежнему неприязненно жмурясь, но уже не кашляя.

Понемногу разогревшись, порозовев своим ужасным лицом, он начинал говорить. Мир, казалось, открывался ему наново, детский и удивительный. В любом монологе Алёши неизменно присутствовал лирический герой – он сам, спокойный, незлобный, добрый, независтливый человек, которого стоит нежно любить. Чего бы не любить Алёшу, если он такой трогательный, мягкий и весёлый? – так думалось мне.

Иногда я по забывчивости пытался рассказать какую-то историю из своей жизни, о своей работе в кабаке, о том, что там происходили дикие случаи и при этом я ни разу не был ни избит, ни унижен, но Алёша сразу начинал нетерпеливо ёрзать и в конце концов перебивал меня, не дослушав.

Покулив ещё раз, оба донельзя довольные и разнеженные, мы вновь направлялись к ларьку, с сомнением оглядываясь на лавочку: нам не хотелось, чтобы её кто-нибудь занял.

У нас была традиция: мы неизменно посещали книжный магазин после первой, но никогда ничего не покупали. Алёша приобретал книги только в трезвом виде, после зарплаты, а я брал их в библиотеке.

Мы просто гуляли по магазину, как по музею. Трогали корешки, открывали первые страницы, разглядывали лица авторов.

– Тебе нравится Хэми? – спрашивал я, поглаживая красивые синие томики.

– Быстро устаёшь от его героя, навязчиво сильного парня. Пивная стойка, боксёрская стойка. Тигры, быки. Тигриные повадки, бычьи яйца...

Я иронично оглядывал Алёшину фигуру и ничего не говорил. Он не замечал моей иронии. Мне так казалось, что не замечал.

Сам Алёша вот уже пятый год писал роман под хорошим, но отчего-то устаревшим названием «Морж и плотник». Никогда не смогу объяснить, откуда я это знал, что устаревшим.

Однажды я попросил у Алёши почитать первые написанные главы, и он не отказал мне. В романе действовал сам Алёша, переименованный в Серёжу. В течение нескольких страниц Серёжа страдал от глупости мира: чистя картошку на кухне (мне понравились «накрахмаленные ножи») и даже сидя на унитазе – рядом, на стене, как флюс, висел на гвозде таз; флюс мне тоже понравился, но меньше.

Я сказал Алёше про ножи и таз. Он скривился. Но выдержав малую паузу в несколько часов, Алёша неожиданно поинтересовался недовольным голосом:

– Ты ведь пишешь что-то. И тебя даже публикуют? Зачем тебе это надо, непонятно... Может, дашь мне почитать свои тексты?

На другой день утром он вернул мне листки и пробурчал, глядя в сторону:

– Знаешь, мне не понравилось. Но ты не огорчайся, я ещё буду читать.

Я засмеялся от всей души. Мы уселись в маршрутку, и я старался как-то развеселить Алёшу, словно был перед ним виноват.

Стояло дурное и потное лето, изнемогающее само от себя. В салоне пахло бензином, и все раскрытые окна и люки не спасали от духоты. Мы проезжали мост, еле двигаясь в огромной, издёрганной пробке. Внизу протекала река, вид у неё был такой, словно её залили маслом и бензином.

Маршрутка тряслась, забитая сверх предела; люди со страдающими лицами висели на поручнях. Моему тяжёлому и насквозь сырому Алёше, сдавленному со всех сторон, было особенно дурно.

У водителя громко играло и сипло пело в магнитофоне. Он явно желал приобщить весь салон к угрюмо любимой им пафосной блатоте.

Одуревая от жары, от духоты, от чужих тел, но более всего от мерзости, доносящейся из динамиков водителя, я, прикрыв глаза, представлял, как бью исполнителя хорошей, тяжелой ножкой от стула по голове.

Пробка постоянно стопорилась. Машины сигналили зло и надрывно.

Алёша тупо смотрел куда-то поверх моей головы. По лицу его непрерывно струился пот. Было видно, что он тоже слышит исполняемое и его тошнит. Алёша пожевал губами и раздельно, почти по слогам, сказал:

– Теперь я знаю, как выглядит ад для Моцарта.

Не вынеся пути, мы вышли задолго до нашей работы и решили выпить пива. Друг мой отдувался и закатывал глаза, постепенно оживая. Пиво было ледяное.

– Алёша, какой ты хороший! – сказал я, любуясь им.

Он не подал виду, что очень доволен моими словами.

– А давай, милое моё дружище, не пойдём на работу? – предложил Алёша. – Давай соврём что-нибудь?

Мы, позвонив в офис, соврали, и не пошли трудиться, и сидели в тени, заливаясь пивом.

Потом прогуливались, едва ли не под ручку, точно зная, но не говоря об этом вслух, что к вечеру упьёмся до безобразия.

– А вот и наш книжный! – сказал Алёша лирично. – Пойдём помянем те книги, которые мы могли бы купить и прочесть.

Мы снова бродили меж книжных рядов, задевая красивые обложки и касаясь корешков книг, издающих, я помню это всегда, терпкий запах.

– Гайто, великолепный Гайто... Взгляни, Алёша! Ты читал Гайто?

– Да, – скривился Алёша. – Я читал.

– И что? – вскинул я брови, предчувствуя что-то.

– Неплохой автор. Но эти его неинтересные, непонятно к чему упоминаемые забавы на турнике... этот его озабоченный исключительно своим мужеством герой, при том, что он, казалось бы, решает метафизические проблемы... один и тот же тип из романа в роман, незаметно играющий трицепсами и всегда знающий, как сломать палец человеку... Тайная эстетика насилия. Помнишь, как он зачарованно смотрит на избивание сутенера?

– Алёша, прекрати, ты с ума сошёл, – оборвал я его и вышел из магазина, непонятно на что разозлившийся.

Товарищ мой вышел следом, не глядя на меня. Он был настроен пить водку и зорко оглядывал ларёк с таким видом, словно ларёк мог уйти.

– А русский американец, ловивший бабочек? Его книги? – спросил я спустя час.

– Странно, что ты знаешь литературу, – сказал Алёша вместо ответа. – Тебе больше пристало бы... метать ножи... или копья. И потом брить ими свою голову. Тупыми остриями.

– Особенно неприятен у него русский период, – ответил минуту спустя Алёша, доливая остатки водки. – Впрочем, американский период, кроме романа о маленькой девочке, я не читал... А многие русские романы отвратны именно из-за повествователя. Спортивный сноб, презирающий всех... – тут Алёша поискал слово и, не найдя, добавил: –...всех остальных...

– Такой же, как ты, – вдруг добавил Алёша совершенно трезвым голосом и сразу заговорил о другом.

Он сидел на лавочке, огромный и грузный. Бока его белого, разжиревшего тела распирали рубаху. Я много курил и смотрел на Алёшу внимательно, иногда забывая слушать.

Отчего-то я вспомнил давнюю Алёшину историю про его отца. Он был инвалидом, не выходил из квартиры, лежал в кровати уже много лет. Алёша никогда не навещал родителя, хотя жил неподалёку. За инвалидом – своим бывшим мужем, с которым давно развелась, ухаживала Алёшина мать.

– Последний раз я его видел в двенадцать, кажется, лет, – сказал Алёша. – Или в одиннадцать.

Было совсем непонятно: стыдится он этого или нет. Я немного подумал тогда про Алёшу, его слова и его отца и ничего не решил. Я вообще не люблю размышлять на подобные темы.

Вскоре Алёшу выгнали с работы, потому что он вовсе отвык приходить туда и делать хоть что-то в срок; впрочем, спустя какое-то время та же участь постигла и меня.

Мы долго не виделись с Алёшей. Казалось, он за что-то всерьёз на меня обижен, но мне не было никакого дела до его обид.

Из представительства легиона мне так и не позвонили.

Я не включал в комнате свет и, катая голой, с ледяными пальцами, ногой чёрную гантель, смотрел в окно, мечтая покурить. Денег на сигареты не было.

Появилось странное, мало чем объяснимое ощущение, что мир, который так твёрдо лежал подо мной, начинает странно плыть, как бывает при головокружении и тошноте.

Против обыкновения, я не сдержался и однажды сам заглянул к соседке, чей номер телефона я оставил в представительстве при собеседовании. Спросил: «Не искали меня?»

В тот раз меня не искали, но через пару дней соседка постучала в мою дверь: «Тебя... Звонят!»

Босиком я перебежал через лестничную площадку, схватил трубку.

– Ну что, всё работаешь? Такие придурки, как ты, нигде не тонут, – услышал я голос Алёши. Он был безусловно пьян. – Не берут тебя в твой... как его? Пансион... Легион... Соскучился по мужской работе? Башку хочется кому-то отстрелить, да? – Алёша старательно захохотал в трубку. – Лирик-людоед... Ты, ты, о тебе говорю... Людоед и лирик. Думаешь, так и будет всегда?..

– Откуда у тебя этот телефон? – спросил я, отвернувшись к стене и сразу увидев своё раздосадованное отражение в зеркале, которое висело за дверью, рядом с телефоном.

– Разве этот вопрос должен быть первым? – отозвался Алёша. – Может быть, ты поинтересуешься, как я себя чувствую? Как я кормлю свою семью, свою дочь...

– Мне нет дела до твоей дочери, – ответил я.

– Конечно, тебе есть дело только до своего отражения в зеркале.

Я положил трубку, извинился перед соседкой, вернулся в свою комнату. Подошёл к кровати и наугад пнул коробку с письмами – попал. Бумаги с шумом рассыпались, несколько листов вылетело из-под кровати и с мягким шелестом осело на пол. Ковра на полу не было: просто крашенные доски, меж которых у меня иногда закатывались монеты, когда я снимал брюки и складывал их. Вчера вечером я бессмысленно шевелил в щели железной линейкой, оставшейся от предыдущих жильцов, и едва удержался от соблазна взломать одну доску. Там, кажется, была монетка с цифрой 5. Пачка корейских макарон. Даже две пачки, если брать те, что дешевле.

Впервые за последние годы я был взбешён.

Накинув лёгкую куртку, в кармане которой вчера позвякивало несколько монет, если точно – то две, я пошёл купить хлеба. На двери маленького, тихого магазинчика висела надпись: «Срочно требуется грузчик».

В следующий вечер я вышел на работу.

Грузить хлеб было приятно. Трижды за ночь в железные створки окна раздавался стук. «Кто?» – должен был спрашивать я, но никогда не спрашивал, сразу открывал – просто потому, что за минуту до этого слышал звук подъехавшей хлебовозки. С той стороны окна уже стоял угрюмый водила. Подавал мне ведомость, я расписывался, авторучка всегда лежала в кармане моей серой спецовки.

Потом он раскрывал двери своего грузовика, подогнанного к окну магазина задним ходом. Нутро грузовика было полно лотков с хлебом. Он подавал их мне, а я бегом разносил лотки по магазину, загоняя в специальные стойки – белый хлеб к белому, ржаной к ржаному.

Хлеб был ещё тёплым. Я склонял к нему лицо и каждый раз едва удерживался от того, чтобы не откусить ароматный ломоть прямо на бегу.

Однажды, под утро, водила поставил очередной лоток с хлебом на окно ещё до того, как я вернулся назад. Не дождавшись меня, водила сунулся в машину за следующим лотком, и тот, что уже стоял на окне, повалился. Хлеб рассыпался по полу, и несколько булок измазались в грязи, натопанной моими башмаками.

– Ну, хули ты? – поспешил наехать на меня водитель, сетуя на мою нерасторопность, хотя сам был виноват.

Я ничего не ответил: чтобы дать ему по глупому лицу, нужно было идти через магазин к выходу, открывать железную дверь с двумя замками, в которые не сразу угодишь длинным ключом...

Когда грузовик уехал, я включил в помещении верхний свет и собрал булки с пола. Утерев их рукавом, снова сложил на лоток. Две булки не оттирались – грязь по ним только размазывалась, и я несколько раз плюнул на розовые их бока: так оттёрлось куда легче и лучше.

Алёша появился возле магазина совершенно случайно, и я до сих пор ума не приложу, зачем мне его подсунули в этот раз.

Я как раз шёл на смену, докуривал, делая последние затяжки, метя окурком в урну, и тут Алёша вышел мне навстречу из раскрытых дверей моего магазина.

Не видя никаких причин, чтобы до сих пор злиться на него, я поприветствовал Алёшу и даже приобнял немного.

– Ты что, здесь работаешь? – спросил он.

– Грузу, – ответил я, улыбаясь.

– К тебе можно зайти? Согреться? Ненадолго? – торопливо спрашивал Алёша, явно не желая услышать отказ. – Я всё равно скоро домой, подарков купил дочери, – в качестве доказательства он приподнял сумку.

– Нет, сейчас нельзя, – ответил я. – Только когда продавцы уйдут и заведующая. Через час.

Через час в дверь начали долбить. Алёша был уже пьян, к тому же с другом.

Друг, правда, показался мне хорошим парнем, с детским взглядом, здоровый, выше меня, очень милый – маленькие уши на большой голове, тёплая ладонь. Он почти всё время молчал, даже не пытаясь участвовать в разговоре, но так трогательно улыбался, что ему всё время хотелось пожать руку.

Я показывал им свои хлеба, свои лотки. Провёл в ту каморку, где последнее время скучал ночами, словно в ожидании какого-то облома, толком не зная, как именно он выглядит: с тех пор, как в четвёртом классе старшеклассники последний раз отобрали у меня деньги, никаких обломов я не испытывал.

Водку ребята принесли с собой.

– Скоро будет тёплый хлебушек, – посулился я.

К тому времени, когда хлебушек привезли, мы все уже были пьяны и много смеялись.

Алёша как раз показывал мне подарки для своей дочуры. Сначала странного анемичного плюшевого зверя, которого я, к искренней обиде Алёши, щёлкнул по носу. Потом книгу «Карлсон» с цветными иллюстрациями.

– Любимая моя сказка, – сказал Алёша неожиданно серьёзно. – Читал её с четырех лет и до четырнадцати. По несколько раз в год.

Он сообщил это таким тоном, словно признался в чём-то удивительно важном.

«С детства не терпел эту книжку...» – подумал я, но не произнёс вслух.

Топая по каменному полу, чтобы открыть окошко, в которое мне подавали хлеб, я вспомнил, как только что, нежно хлопая своего нового друга по плечу, Алёша сказал:

– Пей, малыш! – и, повернувшись ко мне, добавил: – А ты не малыш больше. – И все засмеялись, толком не поняв, отчего именно.

Спустя минуту, хохоча, мы разгружали хлеб втроём. Водила – кажется, тот самый – с интересом поглядывал на нас. Принимая последний лоток с хлебом, я ему по пустому поводу нагрубил. Он ответил – впрочем, не очень злобно и даже, немедленно поняв мой настрой,

попытался исправить ситуацию, сказав что-то примирительное. Но я уже передал лоток новому другу Алёши и пошёл открывать дверь.

– Стой, сейчас я выйду, – кинул я водиле через плечо.

По дороге вспомнил, что иду к дверям без ключей, ключи вроде бы выложил на столе в каморке. Вернулся туда, никак не мог найти, двигал зачем-то початые бутылки и обкусанный хлеб. Ключи нашёл во внутреннем кармане спецовки – чувствовал ведь, что они больно упрутся, если лоток к груди прижимаешь.

Когда я вышел на улицу, грузовик уже уехал. Из помещения на улицу шёл хлебный дух.

Выбрел за мной и Алёша с сигаретой в зубах. Следом, мягко улыбаясь, появился в раскрытых дверях его спутник.

Мы кидали снежки, пытаясь попасть в фонарь, но не попадали – зато попали в окно, откуда, в попытке спасти от нас уличное освещение, неведомая женщина грозила нам, стуча по стеклу.

Дурачась, мы столкнулись плечами с Алёшиным другом, и я предложил ему подраться, не всерьёз, просто для забавы – нанося удары ладонями, а не кулаками. Он согласился.

Мы встали в стойки, я – бодро попрыгивая, он – не двигаясь и глядя на меня почти нежно.

Я сделал шаг вперёд, и меня немедленно вырубили прямым ударом в лоб. Кулак, ударивший меня, был сжат.

Очнувшись спустя минуту, я долго тёр снегом виски и лоб. Снег был жёсткий и без запаха.

– Упал? – сказал Алёша, не вложив в свой вопрос ни единой эмоции.

Я потряс головой и скосил на него глаза: голову поворачивать было больно. Он курил, очень спокойный, в прямом и ярком от снега свете фонаря.

На следующий день мне позвонили из представительства легиона. Я сказал им, что никуда не поеду.

Чёрт и другие

Раз в полгода за стеной раздаётся звук подбираемого одним пальцем на пианино гимна: – Союз... не... до... неруши... мый!.. до... ми... ре... ре... спу... блик!.. республик... сво... до... свободных...

Потом Нина задумывается надолго... её зовут Нина, ей сорок лет, она давно в разводе.

Захлопывается крышка. Ещё полгода гимн я не услышу.

У неё есть дочь пятнадцати лет. Год назад она была незаметна, лишена цвета и запаха, чёлка какая-то попадалась иногда, лица не было никакого, глаз она не поднимала.

Помню только, однажды они с мамой играли в бадминтон прямо во дворе. Понятно было, что дочка попросила составить компанию, мать из жалости согласилась – никто с её чадонькой не дружит! – но при этом чувствовала себя совсем неудобно и всё поглядывала на соседские окна. Игра никак не ладилась. По-моему, никто из них так и не взял ни одной подачи. Ударит мама. Ударит дочка. Ударит мама. Ударит дочка... И всякий раз лезут в кусты, долго ищут оперившийся прыткий шарик.

Кот из соседнего подъезда смотрел брезгливо за всем этим. Я сразу сбежал, чтоб не видеть, но не забыл вот.

А этой весной дочь вышла вдруг из подъезда и «здравствуйте» говорит. Будто три монеты уронили в стакан тонкого стекла.

Смотрит в лицо.

Я поднял взгляд и зажмурился.

Мое ответное «здравствуйте» хрустнуло, как древесная кора.

На ней белые, словно мороженое, кроссовки на толстой подошве, джинсы расклешённые, а курточка с маечкой такие, словно с младшего брата сняла – до пупка не дотягивают.

Хотя младшего брата у неё нет.

Имя её я не знаю. Есть какое-то имя вроде, но не знаю.

Днём в подъезде стоят её знакомые малолетки – одноклассники, наверное. Разговаривают так, словно у них насморк. Даже не касаясь их, я знаю, что пальцы у них мокры и холодны. Положи на батарею – батарея начнёт промерзать. Положи в один карман рыбу, в другой такую руку – полезешь и не различишь где что. Зачем природа так не любит подростков с их, знаете, кожей, с их воспалённым... ну чем воспалённым? всем воспалённым.

Вечером появляются другие: на прекрасно дрессированной машине подъезжают двое, оба в узких чёрных ботинках, один в ароматном джемпере, второй в чёрном костюме – белая рубашка, воротничок – как будто только что сдавал бухгалтерский отчёт. Сдал на «пятёрку».

Соседка спускается к ним и, задыхаясь от чего-то, курлыкает возле машины, а они будто бы распушаются, и перья их наэлектризованы – просто не видно под джемпером и под пиджаком, как там всё с лёгким треском искрится.

В машине мягкие сиденья. В кармане чёрного пиджака презервативы.

Слышу, как Нина открывает окно и громко произносит:

– Тут разговаривайте, поняла? Никуда не уезжай. Слышишь или нет?

– Слышу, мам, – отвечает дочь спокойно и снова тихо курлыкает.

Потом машина послушно заводится, а через минуту хлопает дверь подъезда – девушка возвращается в квартиру к маме, улыбаясь самой себе.

Тем временем эти двое в машине говорят друг другу всякие пакости.

На ночь Нина кормит доченьку творожниками и пирожками. Она всё время готовит, а я тоскливо принохиваюсь, пытаюсь различить начинку.

Другой сосед профессор, изучает какие-то точные науки, зовут Юрий, отчество забыл. Он никогда не улыбается и, уверен, даже не умеет этого делать. Половик возле его дверей самый чистый. Впрочем, возле моей квартиры вообще нет половика.

Когда Юрий поднимается на площадку, он всё время приговаривает что-то. Дословно не разобрать, но что-то вроде: «...отвратительно... грязь!.. как самим не стыдно... это же натуральное извращение... ничто иное!.. нет, просто безумие какое-то...»

Если Нина играет гимн раз в полгода, то Юрий пылесосит раз в полтора часа, иногда чаще. Пылесос звучит остервенело и огрызается, как загнанный.

Однажды я курил в подъезде, Юрий зачем-то открыл дверь – сначала первую, деревянную, в три замка, потом вторую, железную, ещё в три замка. Глянул на меня и тут же закрылся, спасаясь, быть может, от микробов, ну и вообще от того, что я пылен, испепелён, тленен.

Однако я успел заметить, что он был в накрахмаленном белом фартуке, синих, выстиранных до бесцветности домашних брюках и в бахилах на ногах – вот как в больницах и поликлиниках выдают бахилы на резиночках, чтоб не топтали, – так он ходит по дому. Под бахилами были тапки. Носки его тоже успел заметить, под укоротившимися от стирки брюками они смотрелись как гольфы.

За спиной Юрия мелькнул его сын, тоже, кажется, Юрий, симпатичный парень лет восемнадцати. И он был в бахилах, я точно видел.

Дверь захлопнулась, вслед за ней деревянно гаркнула вторая, и тут же включился пылесос – профессор Юрий приступил к истреблению сигаретного дыма, проникнувшего в дом.

Мы с Ниной однажды столкнулись лицом к лицу в подъезде, перекинулись парой слов, чуть повышая голос – Юрий как раз пылесосил.

– Чистоту любит сосед, – сказал я чуть иронично.

– Не был у него дома? – спросила Нина.

– Кто же меня пустит, такого грязного.

– Там как в операционной, – сказала Нина внятным шёпотом – будто опасаясь, что даже через истерзанное рычание пылесоса Юрий способен нас услышать.

Женщины в его дому не водилось.

Но как-то ночью я услышал у соседей крики и внятный шум борьбы. Привстав на кровати, порыскал выключатель, зажёл резкий и жёлтый свет.

Раздававшаяся в ночи речь была невнятна, но мужские голоса, похоже, принадлежали Юрию и его сыну. И ещё был женский голос – он вскрикивал и рыдал; рот женщины будто бы затыкали, зажимали всё время.

Громко падали стулья, рушились вешалки, вдребезги билась посуда, потом вдруг всё стихло, и кто-то пробежал в тапочках, кажется, на кухню. Было отчётливо слышно, как ложечкой мешают чай, быстро-быстро.

Ещё минуту я сидел с включённым светом, моргая в окно.

Ничего не понял.

В четвёртой квартире живут студенты, два. Мальчик и мальчик. Снимают жильё. У них до глубокой ночи играет однообразная нерусская музыка. Утром осыпается во все стороны, повизгивая и подскакивая на месте, будильник. Как будто насыпали в железную плошку железной чепухи и грохочут над головой.

Студенты сначала с громким зевом вскрикивают и окликают друг друга, создаётся ощущение, что они спят в лесу и деревья, на которые они взобрались, далеко друг от друга.

Вскоре студенты встают и начинают ещё громче разговаривать, почти кричать – они всё время находятся в разных комнатах, хотя комната у них, собственно, одна, есть ещё кухня, рассчитанная на человека с чайником – кастрюле уже приходится потесниться, прихожка на четыре ботинка и туалет, где можно встать меж ванной и раковиной, а дальше уже двигаться некуда – но есть смысл перетаптываться вокруг своей оси: сначала наблюдаешь себя в зеркале,

потом всё время подтекающий в порыжелую ванную душ, потом носки и полотенце на батарее, потом делаешь шаг и выходишь прочь.

У меня такая же квартира, я в курсе.

Студенты мне никогда не встречаются – каждое утро с раздражением я слушаю их голоса, но вставать мне лениво, и я не встаю. Они всё равно вот-вот уйдут, ещё немного поорав в подъезде, – один спустится вниз, второй будет закрывать дверь на ключ, тот, что внизу, объявит, что забыл конспект. «Дебил», – заметит мрачно второй. В итоге дверь в их квартиру будет бам! квыыы... бам! квыыы... Бам!

Потом, наконец, замок закроется на два оборота, и в секунду, когда железно грохнет парадная дверь, я счастливо засну ещё ровно на час.

Ввиду того, что студентов я никогда не видел, у меня есть возможность раскрасить их силуэты, согласно воображению.

Один из них хрипловат, басовит, ноздреват, черноват, руковит. Он за старшего, что даже через стену вызывает у меня некоторое раздражение. Я давно привык, что есть неважные для меня категории стариков, мужиков и детей – и есть все остальные нормальные люди, среди которых за старшего оказываюсь всегда я. А тут самоуправство такое.

Он унижает второго, который сутоловат, угловат, длинноват и слегка гнусит.

Первый стебает второго по любому поводу. «Не трогай мой кипятильник... Да кого волнует, что твой не работает. Попроси его, чтоб поработал!» «У тебя и сестра есть? Старшая? Сиськи уже выросли? Подглядывал в ванной за ней?» «На хер ты повесил сюда половую тряпку? Это твоё полотенце? Удобно, да. Протёр пол, вытер лицо... Ты накрывайся им ещё, когда спишь...»

Вечерами они переругиваются, используя не очень много слов, в пределах десятка-другого. Чаще всего старший повторяет фразу:

– Нет, ни хера ты не прав!

По именам студенты друг друга никогда не называют. Поэтому первого я зову «чёрт», а второго – «бедолага».

Чёрт меня бесит. Бедолагу – жалею.

Если Юрий и сын живут в операционной, то Нина и дочь – в кладовке.

Нина однажды заглянула ко мне, спросила, работает ли мой телефон.

Я поднял трубку.

На секунду замешкавшись от неожиданности, телефон выдохнул, хмыкнул и загудел в ухо, сначала неровным, срывающимся гудком, а потом как полагается.

– Гудит, – сказал я и протянул Нине трубку.

– Гудит, – согласилась она, послушав.

– А у меня не гудит, – сказала она, – не посмотришь?

Я пошёл посмотреть, как не гудит. О телефонах я знал только две вещи: что когда они работают – по ним можно разговаривать, а когда не работают – не стоит.

Однажды я даже разобрал телефон. Содержимое меня озадачило.

В Нининой квартире всякий шаг нужно было делать, перешагивая через что-то. Создавалось бы ощущение, что они переезжают куда-то, если б не было очевидно, что разнообразно сложенные на полу тюки лежат тут очень давно.

На кухне, слышал я, текла в разнообразную посуду вода. Я подумал, что дочка посуду намывает, но её голос тут же раздался из другой комнаты:

– Не заработал? – спросила она, зевая. Захотелось заглянуть к ней, и я не стал себе отказывать. Взяв телефонный шнур, стал, двигаясь на корточках, пропускать его через пальцы, что твой заправский связист: вроде бы как проверяя на предмет разрыва.

Так и дошёл до нужной двери и скосился туда. Увидел стол в углу, наполовину заваленный учебниками, другую половину занимала швейная машинка, которой явно никто не поль-

зовался. Только малый уголок стола был свободен – на нём одиноко размещалась раскрытая косметичка.

Сама девушка в джинсах и в майке лежала на кровати, глядя в потолок. Ни книги, ни журнала рядом не было. Она просто лежала и, видимо, ждала, когда заработает телефон.

В комнате её наблюдалось то же самое, что и в остальной квартире, – груды вещей, ботинки и тапки какие-то повсюду, все без пары.

Но, странно, ощущения неряшливости почти не возникало. Напротив, казалось: живут люди и живут, им так удобно. Тем более в квартире опять замечательно пахло свежей выпечкой.

Нина прошла на кухню, переступая то через одно, то через второе, выключила там воду и вернулась обратно. Я как раз штекером пошевелил – собственно, это единственное, что я мог сделать, – и телефон, зажимаемый мной меж плечом и ухом, подал сигнал – да так громко, что даже Нина услышала гудок.

– Заработал! – сказала она радостно.

Бережно я положил трубку на рычажки. Телефон немедленно зазвенел.

– Тебя! – сказала мать дочери, сняв трубку.

Дочь тут же появилась, не глядя на меня, схватила телефон и, резво подпрыгивая над мешающими идти тюками, пропала в своей кладовке.

– Привет, – протянула она в трубку и сразу засмеялась так, словно в ответ услышала замечательную шутку.

Я с трудом удержался от того, чтоб выдернуть штекер снова.

К тому же вечер не задался.

Я заснул часов в восемь, со мной иногда бывает – причём проспать так я могу до восьми утра; хотя обычно сплю часов шесть, не больше.

Но раз в месяц организм, видимо, перезаряжает батарейки, поэтому ему вынь да положь полсута покоя.

Однако в десятом часу меня разбудил звонок в дверь.

У меня есть маленький закидон, ещё из ранней юности, – когда вечером ли, ночью кто-то звонит в дверь или по телефону, я всякий раз неистребимо уверен, что это пришла или собирается прийти та, которую я жду. Узнала, что жду, – и вот решилась.

Там, конечно, Юрий стоял за дверью, а никакая не та.

– Видите, что это такое, – не здороваясь, он указал пальцем в угол площадки.

Не привыкший ещё к свету, я сощурился и посмотрел.

– Что там такое? – повторил я хрипло.

– Сигаретный бычок, – сказал Юрий, с трудом сдерживая бешенство, – и внизу ещё два! И – пепел!..

– И – что? – спросил я, сделав ту же дурацкую паузу меж словами «и» – «что», как сделал он, указуя на пепел.

– Нина Александровна не курит, я не курю, студенты, снимающие квартиру, – тоже не курят. Курите только вы!

– Слушайте, вы в своём уме? – наконец понял я, в чём дело. – Не имею никакого представления, откуда взялись эти бычки! И – пепел! Никакого! У меня пепельница есть.

– Нина Александровна не курит! – повторил Юрий упрямо, словно это неопровержимо доказывало мою вину. Взгляд его был яростен и ненавидящ.

Я захлопнул дверь.

Через минуту в квартире Юрия заработал пылесос. Он вопил о ничтожестве и мерзости мира.

Всё стихло только к полуночи.

Следующий звонок раздался, когда на улице даже авто перестали ездить. Царила глухая ночь.

«Сейчас... сейчас я ему бычок в глаз воткну», – решил я, чертыхаясь в темноте.

От бешенства забыл, в какую сторону у меня замок поворачивается, крутил туда-сюда, выламывая пальцы. Открыл наконец.

Там стояла Нинина дочка.

– С мамой плохо, – сказала она, – а телефон опять не работает.

Я набрал скорую. Слушая вопросы невозмутимой телефонистки, всё время переспрашивал свою гостью:

– Возраст?... Шестнадцать! Тьфу, да не твой, матери! Полное имя, фамилия, отчество... – дочь так и ответила – имя, фамилию, потом задумалась над отчеством и назвала, явно сомневаясь в верности ответа.

– Да, Александровна, – вспомнил я. – Что у неё болит?

– Что-то с сердцем, – ответила девушка; губы её дрожали.

Она была в материнском халате.

– Сейчас приедут, – сказала телефонистка равнодушно. – Дверь подъезда оставьте открытой. Или постойте на улице, встретьте.

Мы прошли в квартиру к Нине – она лежала на кровати, уже одевшаяся, бледная, с открытыми глазами, прерывисто дышала. Светил ночник. На столике рассыпью лежали лекарства.

– Надо что-то? – спросил я негромко.

Нина отрицательно качнула головой, жмуря глаза.

Я вышел на улицу, оставив дверь в подъезд открытой, закурил там.

Подумав, вернулся на лестницу, подобрал два бычка, бросил их в ночь.

Это ж наша красавица, дочь Нины, начала покуривать, я ж знаю.

Подъезжающую скорую было слышно издалека.

Лёжа на кровати, закинув руки за голову, я продумывал разные варианты. Например, можно случайно столкнуться в подъезде и спросить, работает ли телефон.

Как её зовут, кстати... У кого б поинтересоваться.

Можно случайно столкнуться с Юрием в подъезде и спросить:

– Не знаете, как зовут дочь Нины? Я хочу случайно столкнуться с ней в подъезде и спросить, работает ли у неё телефон.

...Нет, сложно.

Столкнуться всё-таки с ней и спросить: не хочешь ли ты поиграть в бадминтон? Помню, вы с мамой увлекались этой игрой...

Нина уже неделю как лежала в больнице. Дочери её будто и дома не было – только однажды я слышал, как она сняла крышку пианино, взяла единственную жалостливую ноту и тут же закрыла инструмент.

«Тоскует по матери», – решил я. Самочувствие Нины меня тоже печалило, что, признаюсь, мешало с должным вдохновением подойти к вопросу о бадминтоне.

От вялых размышлений меня отвлекли голоса студентов.

Старший опять грубил.

– Давай деньги сюда, я тебе сказал, – наседали тот, который чёрт, на своего соседа.

– У меня мало уже осталось, – почти хныкал в ответ тот, что бедолага.

– Чего ты не понял? Деньги сюда!

– Это же наш общак, ты что... – плаксиво отвечал бедолага, всё ещё не сдаваясь.

Раздался звук удара и высокий мужской вскрик.

– Вот сука, – сказал я вслух, впрыгнул в тапки, натянул майку и решительно вышел в подъезд.

Сначала примерился пальцем к звонку на двери студентов, но, подумав, что звонок не столь грозно прозвучит, как хотелось бы, занёс кулак для того, чтоб грохнуть по войлочной обивке... и вдруг остановил себя.

Студенты продолжали разговаривать.

– Тебя прёт, что ли, от этой дряни? – спрашивал чёрт с недоумением и брезгливостью.

– Я только один раз попробовал, – отвечал ему бедолага, хныча.

– Какой «один раз»? Я твои шприцы каждый день нахожу!

– Мне пацаны дали попробовать. Иногда можно по приколу... – мямлил своё долговязый.

Я так и залип со своим кулаком.

– Ты, гнида, весь наш общак спустил на свою отраву, – всерьёз печалился чёрт.

– Ничего я не спустил...

– Где деньги тогда?

– У меня мало осталось...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.